

100 великих романов

Эмиль Золя

ЛУРД



100 великих романов

Эмиль Золя

Лурд

«ВЕЧЕ»

1894

Золя Э.

Лурд / Э. Золя — «ВЕЧЕ», 1894 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4484-8672-2

Конец XIX века. В Лурд – небольшой город на юге Франции – приезжает очередная группа паломников, чтобы посетить знаменитый грот Масабиель, помолиться там перед статуей Девы Марии Лурдской и, возможно, вымолить чудесное исцеление для себя или своих близких. Среди паломников – молодая девушка Мари, которая уже семь лет не может ходить. Ее сопровождает священник Пьер, в тайне от всех влюбленный в свою подопечную. Он надеется, что Мари получит исцеление и тогда, если он оставит сан, то сможет быть счастлив вместе с ней. Так начинается один из известнейших романов французского классика Эмиля Золя – роман о том, что дает людям вера и что она у них отбирает.

ISBN 978-5-4484-8672-2

© Золя Э., 1894

© ВЕЧЕ, 1894

Содержание

Первый день	6
Глава I	6
Глава II	16
Глава III	25
Глава IV	35
Глава V	46
Второй день	57
Глава I	57
Глава II	66
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Эмиль Золя

Лурд

© ООО «Издательство «Вече», 2021

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

Сайт издательства www.veche.ru

Первый день

Глава I

Поезд шел полным ходом. Паломники и больные, теснившиеся на жестких скамейках вагона третьего класса, заканчивали молитву «Ave maris stella»¹, которую они запели, лишь только поезд отошел от Орлеанского вокзала; в это время Мари, увидев городские укрепления, в лихорадочном нетерпении приподнялась на своем горестном ложе.

– Ах, форты, – радостно, несмотря на свое болезненное состояние, воскликнула девушка. – Наконец-то мы выехали из Парижа!

Ее отец, г-н де Герсен, сидевший напротив, улыбнулся, заметив радость дочери, а аббат Пьер Фроман с глубокой жалостью и братской нежностью посмотрел на девушку и невольно произнес вслух:

– А ведь придется ехать так до завтрашнего утра, в Лурде мы будем только в три сорок. Более двадцати двух часов пути!

Это происходило в пятницу, девятнадцатого августа. Было половина шестого утра, сияющее солнце только что взошло, но собравшиеся на горизонте густые облака предвещали душный, грозовой день. Косые солнечные лучи пронизывали золотом крутящуюся в вагоне пыль.

Опять тоска охватила Мари, и она прошептала:

– Да, двадцать два часа. Боже мой! Как долго.

Отец помог ей снова улечься в узкий ящик, нечто вроде лубка, в котором она провела семь лет жизни. В виде исключения в багаж приняли две пары съемных колес, которые привинчивались, чтобы возить ящик. Зажатая между досками этого передвижного гроба, девушка занимала на скамье целых три места. С минуту она лежала, смежив веки; худенькое землисто-серое лицо Мари было все же прелестно в ореоле прекрасных белокурых волос, которых не коснулась болезнь, и выражение его было детски-наивно, несмотря на то, что ей уже минуло двадцать три года. Одета она была очень скромно, в простенькое черное шерстяное платье, а на шее у нее висел билетик Попечительства с ее именем и порядковым номером. Мари по собственной воле проявила такое смирение; к тому же ей не хотелось вводить в расходы своих близких, впадших в большую нужду. Поэтому она и оказалась здесь, в третьем классе белого поезда для тяжелобольных, самого скорбного из всех четырнадцати поездов, отправлявшихся в тот день в Лурд, того поезда, который, кроме пятисот здоровых паломников, мчал на всех парах с одного конца Франции на другой еще триста несчастных, изнемогающих от слабости людей, измученных страданиями.

Жалея, что он огорчил девушку, Пьер продолжал смотреть на нее с такой нежностью, словно он был ее старшим братом. Пьеру недавно исполнилось тридцать лет. Это был бледный, худощавый человек с высоким лбом. Взяв на себя все заботы о путешествии, он захотел сам сопровождать Мари и вступил членом-соревнователем в Попечительство богоматери всех скорбящих; на сутане его красовался красный с оранжевой каймой крест санитара. Г-н де Герсен приколот к своей серой суконной куртке алый крестик паломника. Любезный и рассеянный, очень моложавый, несмотря на пятьдесят с лишним лет, он, казалось, был в восторге от путешествия и то и дело поворачивал к окну свою птичью голову.

В соседнем купе, несмотря на отчаянную тряску вагона, вызывавшую у Мари болезненные стоны, поднялась сестра Гиацинта. Она заметила, что девушка лежит на самом солнце.

¹ Привет тебе, звезда морей (лат.).

– Опустите, пожалуйста, штору, господин аббат... Ну, вот что, пора располагаться и привести в порядок наше маленькое хозяйство.

Сестра Гиацинта, всегда улыбающаяся и энергичная, была в форме сестер Общины успения богородицы, – в черном платье, которое оживляли белый чепец, белая косынка и длинный белый передник. От ее прекрасных голубых глаз, таких кротких и нежных, и свежего маленького рта веяло молодостью. Сестру нельзя было назвать красивой, но стройный, тонкий стан, мальчишеская грудь под форменным передником, белоснежный цвет лица – все в ней дышало прелестью, здоровьем, веселостью и целомудрием.

– Как нестерпимо палит солнце! Прошу вас, сударыня, спустите и вашу штору.

Рядом с сестрой, в уголке, сидела г-жа де Жонкьер с маленьким дорожным мешком на коленях. Она медленно спустила штору. Г-жа де Жонкьер, полная, еще очень миловидная брюнетка, хорошо сохранилась, хотя у нее уже была двадцатичетырехлетняя дочь Раймонда, которую она из приличия посадила в вагон первого класса вместе с двумя дамами-попечительницами, г-жой Дезаньо и г-жой Вольмар. Сама г-жа де Жонкьер, начальница палаты в Больнице богоматери всех скорбящих в Лурде, должна была ехать со своими больными; на дверях купе покачивался плакат с уставом, где под ее именем значились имена сопровождавших ее двух сестер Общины успения. Г-жа де Жонкьер, вдова, муж которой разорился незадолго до смерти, скромно жила с дочерью на улице Вано в квартире, выходившей окнами во двор, на ренту в четыре – пять тысяч франков. Отличаясь неисчерпаемым милосердием, г-жа де Жонкьер все свое время отдавала Попечительству богоматери всех скорбящих и была самой активной ревнительницей этого дела; ее коричневое поплиновое платье украшал красный крест. Женщина гордая, она любила лесть и поклонение и с радостью совершала ежегодное путешествие в Лурд, где находила удовлетворение своим пристрастиям и стремлениям.

– Вы правы, сестра, нам надо устроиться поудобней. Не знаю, зачем я держу этот мешок. Она положила его возле себя под лавку.

– Погодите, – сказала сестра Гиацинта, – у вас в ногах кувшин с водой. Он вам мешает.

– Да нет, уверяю вас. Оставьте, надо же ему где-нибудь стоять.

И обе принялись, как они говорили, устраивать свое хозяйство, чтобы больные могли провести с наибольшим удобством сутки в вагоне. Обеим было досадно, что они не могли взять к себе Мари – она пожелала остаться с Пьером и отцом; впрочем, они без труда общались через низенькую перегородку купе. Да и весь вагон – все пять купе по десяти мест в каждом – представлял собою как бы единую движущуюся залу, которую можно было сразу охватить взглядом. Это была настоящая больничная палата; между голыми желтыми деревянными перегородками, под выкрашенным белой краской потолком, царил беспорядок, как в наскоро устроенном походном госпитале: из-под скамеек торчали тазы, метелки, губки. Вещей в багаж не принимали, поэтому всюду громоздились узлы, чемоданы, деревянные баулы, шляпные картонки, дорожные мешки – жалкий скраб, перевязанный веревками; на медных крюках висели, покачиваясь, пакеты, корзины, одежда. Тяжелобольные лежали среди этой ветоши на узких тюфяках, занимая по несколько мест каждый, – громохание колес мчавшегося поезда укачивало их; те же, кто мог, сидели мертвенно-бледные, прислонившись к перегородкам, подложив под голову подушку. По правилам полагалось, чтобы в каждом купе присутствовала дама-попечительница. Вторая сестра Общины успения, Клер Дезанж, находилась на другом конце вагона. Здоровые паломники уже вставали, и некоторые даже принялись за еду и питье. Одно из купе занимали десять женщин, – они сидели, тесно прижавшись друг к другу, – молодые и старые, все одинаково безобразные и жалкие. Окон нельзя было открывать из-за чахоточных больных; в вагоне стояла духота; казалось, с каждым толчком мчавшегося на всех парах поезда зловоние становилось все более нестерпимым.

В Жювизи прочли, перебирая четки, молитву. А когда в шесть часов вихрем промчались мимо станции Бретины, сестра Гиацинта поднялась с места. Она руководила чтением

молитв, и большинство паломников следило за их чередованием по маленькой книжке в синей обложке.

– Angelus, дети мои, – проговорила сестра Гиацинта с обычной своей улыбкой, исполненной материнского добродушия, которому девичья юность придавала особое очарование и нежность.

Затем прочли «Ave». Когда чтение молитв окончилось, Пьер и Мари обратили внимание на двух женщин, сидевших с краю в их купе. Одна из них, та, что поместилась в ногах у Мари, на вид мешанка, в темном платье, была преждевременно увядшей, худенькой блондинкой, лет тридцати с лишним, с выцветшими волосами и продолговатым страдальческим лицом, на котором лежала печать беспомощности и бесконечной тоски; она старалась занимать как можно меньше места и не привлекать к себе внимания. Напротив нее, на скамейке Пьера, сидела другая женщина одних лет с первой, по-видимому мастерица, в черном чепце, с измученным нуждой и тревогой лицом; на коленях она держала девочку лет семи, такую бледненькую и крошечную, что ей едва можно было дать четыре года. Нос у ребенка заострился, глаза, обведенные синевой, были закрыты, лицо казалось восковым; девочка не могла говорить и только тихонько стонала, надрывая сердце склонившейся над ней матери.

– Может быть, она съест немного винограду? – робко предложила молчавшая все время дама. – У меня есть, в корзинке.

– Благодарю вас, сударыня, – ответила мастерица. – Она ничего не ест и только пьет молоко, да и то... я взяла с собой бутылку.

Уступая свойственной беднякам потребности откровенно излить свое горе, она рассказала о себе. Ее звали г-жой Бенсен, она потеряла мужа, золотильщика по профессии, умершего от чахотки. Оставшись вдвоем с Розой, которую она обожала, г-жа Венсен дни и ночи шила, чтобы вырастить дочь. Но вот пришла болезнь. Четырнадцать месяцев г-жа Венсен не спускает девочку с рук, а та с каждым днем все больше страдает и худеет, совсем истаяла, бедняжка! Однажды г-жа Венсен, никогда раньше не ходившая в церковь, с отчаяния пошла к обедне помолиться о выздоровлении дочери, и там она услышала голос, сказавший ей, чтобы она отвезла девочку в Лурд, где пресвятая дева смилостивится над нею. Г-жа Венсен никого не знала, не имела ни малейшего понятия о том, как организуется паломничество, но ею всецело овладела одна мысль: работать, накопить денег на поездку, купить билет и уехать; она взяла с собой только бутылку молока для ребенка, даже не подумав о том, что и ей нужен хоть кусок хлеба. У нее осталось всего тридцать су.

– Чем же больна ваша милая крошка? – спросила дама.

– Ах, сударыня, скорее всего это запор... но доктора все называют по-своему. Сперва у нее немного болел живот, потом он вздулся и начались сильные боли, просто плакать хотелось, глядя на нее. Теперь живот опал, только она так похудела, что ноги больше не носят ее от слабости, и она все время потеет...

Роза застонала, открыв глаза; мать побледнела и взволнованно наклонилась к ней.

– Что с тобой, моя радость, мое сокровище?.. Хочешь пить?

Но девочка уже закрыла затуманившиеся голубые глаза, даже не ответив матери, и снова впала в беспамятство; она лежала совсем беленькая в белоснежном платице, – мать пошла на этот излишний расход в надежде, что пресвятая дева окажется милостивее к нарядной маленькой больной, одетой во все белое.

После минутного молчания г-жа Венсен спросила:

– А вы, сударыня, вы ради себя едете в Лурд? Видать, что вы больны.

Но дама смущенно забилась в свой уголок и горестно прошептала:

– Нет, нет! Я не больна... Дал бы мне бог заболеть, я бы меньше страдала!

Она звалась г-жой Маэ, у нее на сердце было неисцелимое горе. После медового месяца, длившегося целый год, ее муж, жизнерадостный толстяк, за которого она вышла по любви,

бросил ее. Коммивояжер по ювелирному делу, он зарабатывал большие деньги и по полгода находился в разъездах; путешествуя по всей Франции, от одной границы до другой, он походя изменял жене и даже возил с собою женщин. А жена обожала его и, жестоко страдая, стала искать прибежище в религии; наконец она решила отправиться в Лурд, чтобы умолить пресвятую деву обратить мужа на путь истинный и вернуть его жене.

Госпожа Венсен не понимала ее страданий, но чутьем угадывала, какую душевную муку приходится ей терпеть; и обе продолжали смотреть друг на друга – покинутая женщина, умиравшая от страстной любви, и мать, страстно боровшаяся со смертью, готовой унести ее дочь.

Пьер и Мари внимательно прислушивались к разговору. Аббат принял в нем участие, выразив удивление, что портниха не поместила маленькую Розу в больницу. Попечительство богоматери всех скорбящих было основано монахами августинского ордена Успения после войны – на благо Франции и для укрепления церкви при помощи молитвы, а также милосердия ради; их стараниями были организованы большие паломничества; им принадлежала мысль устроить паломничество в Лурд, которое потом, в течение двадцати лет, совершалось ежегодно в конце августа месяца. Таким образом, в их ловких руках возникла целая организация: собирались значительные пожертвования, в каждом приходе вербовались больные, заключались договоры с железнодорожной администрацией, не говоря уже о деятельной помощи сестер Общины успения и о создании Попечительства богоматери всех скорбящих, широкого братства, в которое входили мужчины и женщины преимущественно из высшего общества; они подчинялись лицу, возглавлявшему паломничество, ухаживали за больными, переносили их, поддерживали дисциплину. Больные подавали письменное заявление в Попечительство о госпитализации и освобождались от всех расходов по поездке и пребыванию в Лурде; за ними приезжали на квартиру и доставляли их обратно, им оставалось только запастись на дорогу провизией. Правда, большинство больных получало рекомендации от священников или благодетелей, которые проверяли справки, удостоверения личности, медицинские свидетельства и заводили дело на каждого больного. После этого больным ни о чем больше не приходилось думать: они становились страждущей плотью, ожидающей чуда и отдавшей себя в заботливые руки сестер и братьев милосердия.

– Видите ли, сударыня, вам надо было обратиться к священнику вашего прихода, – объяснял Пьер. – Бедный ребенок заслуживает всяческого сочувствия. Ваша девочка была бы немедленно принята.

– Я не знала, господин аббат.

– Так как же вы сюда устроились?

– Одна моя соседка, которая читает газеты, указала мне место, где взять билет. Я пошла туда и купила.

Речь шла об удешевленных билетах; их распределяют между паломниками, которые в состоянии хоть что-нибудь заплатить. Мари слушала, и глубокая жалость охватила ее; девушке стало немного стыдно: она была не такой уж неимущей, однако благодаря Пьеру ехала за счет Попечительства, а эта мать с несчастным ребенком, истратив все свои сбережения, осталась без гроша.

Но тут вагон так сильно качнуло, что Мари вскрикнула.

– Пожалуйста, папа, приподними меня. Я больше не могу лежать на спине.

Господин де Герсен посадил дочь, и Мари глубоко вздохнула.

Ехали только полтора часа, миновали станцию Этамп, а между тем все уже испытывали усталость от возмужавшей жары, пыли и шума. Г-жа де Жонкьер поднялась со своего места, чтобы ласковым словом через перегородку ободрить девушку. Сестра Гиацинта тоже встала и весело хлопала в ладоши, желая привлечь к себе внимание.

– Полно, полно, не надо думать о своих болезнях. Будем молиться, петь, и святая дева снизойдет к нам.

Она начала молитву в честь лурдской богородицы, и все больные и паломники последовали ее примеру. Это была первая молитва по четкам – пять песнопений о светлых праздниках: благовещении, посещении, рождестве, очищении и нахождении. Потом все запели: «Воззрим на небесного архангела...» Голоса врывались в грохот колес, словно глухой прибой; люди задыхались в запертом вагоне, мчавшемся все вперед и вперед.

Хотя г-н де Герсен и соблюдал обряды, однако он никогда не мог допеть молитвы до конца. Архитектор вставал, снова садился; наконец, облокотившись о перегородку, он заговорил вполголоса с больным, сидевшим в соседнем отделении, прислонившись к той же перегородке. Г-н Сабатье, коренастый мужчина лет пятидесяти, с крупным добрым лицом и лысым черепом, пятнадцать лет страдал атаксией. Болезнь лишь периодически напоминала ему о себе в минуты приступов, однако ноги у него отнялись совершенно; сопровождавшая его жена перекладывала их, как покойнику, когда становилось невтерпеж держать их в одном положении, – они словно наливались свинцом.

– Да-с, сударь, видите, каким я стал, а ведь я бывший учитель пятого класса лицея имени Карла Великого. Сперва я думал, что у меня обыкновенный ишиас; потом почувствовал острые боли в мышцах, словно в меня вонзали лезвие кинжала. Лет десять болезнь постепенно развивалась, я советовался со всеми врачами, побывал на всевозможных курортах; теперь я меньше мучаюсь, но прикован к креслу... И вот, прожив всю жизнь неверующим, я обратился к богу, и меня осенила мысль, что лурдская пресвятая дева не может не сжалиться над моим несчастьем.

Пьер заинтересовался разговором и, облокотившись в свою очередь о перегородку, стал слушать.

– Не правда ли, господин аббат, страдание лучше всего способствует пробуждению души? Вот уже седьмой год как я езжу в Лурд и не теряю надежды на выздоровление. Я убежден, что в этом году святая дева исцелит меня. Да, я еще буду ходить, этой надеждой я только и живу.

Господин Сабатье, попросив жену переложить ему ноги чуть влево, умолк, а Пьер смотрел на него и удивлялся, откуда взялась такая упорная вера у этого интеллигентного человека, – ведь люди с университетским образованием обычно отличаются безбожием. Каким образом могла созреть и укорениться в его мозгу вера в чудо? По словам самого г-на Сабатье, только сильные страдания объясняют эту потребность в извечной утешительнице – иллюзии.

– Как видите, мы с женой оделись очень скромно: я прибегнул к милости Попечительства, мне не хотелось в этом году выделяться среди бедняков, чтобы пресвятая дева приняла и во мне участие, как и в прочих своих страждущих чадах... Но, не желая отнимать места у настоящего бедняка, я уплатил Попечительству пятьдесят франков, что, как вы знаете, дает право везти одного больного за свой счет. Я даже знаю моего больного, мне только что представили его на вокзале. У него туберкулез, и он, по-видимому, очень, очень плох...

Снова наступило молчание.

– Да исцелит его всемогущая пресвятая дева, я буду так счастлив, если исполнится мое пожелание.

Трое мужчин продолжали беседовать; речь шла сперва о медицине, затем они заговорили о романской архитектуре – поводом послужила колокольня на холме, при виде которой паломники осенили себя крестным знамением. Молодой священник и его собеседники увлеклись разговором, столь обычным для образованных людей, а вокруг них были страждущие бедняки, простые разумом, отупевшие от нищеты. Прошел час, пропели еще две молитвы, миновали станции Тури и Обре; наконец в Божанси де Герсен, Сабатье и аббат прервали беседу и стали слушать сестру Гиацинту: хлопнув в ладоши, она запела свежим, звонким голосом.

И снова все голоса слились в молитве, притупляющей боль, пробуждающей надежду, что постепенно овладевает всем существом, истомленным жаждой милости и исцеления, за которым приходилось ехать в такую даль.

Садясь на свое место, Пьер заметил, что Мари побледнела и лежит с закрытыми глазами; по болезненной гримасе, искажившей ее лицо, он понял, что она не спит.

– Вам хуже?

– О да, мне очень плохо. Я не доеду... Эти непрерывные толчки...

Мари застонала, открыла глаза. В полубессознательном состоянии смотрела она на других больных. Как раз в это время в соседнем купе, напротив г-на Сабатье, больная, по имени Гривотта, до тех пор лежавшая как мертвая, почти не дыша, привстала со скамейки. Это была высокого роста девушка лет под тридцать, какая-то своеобразная, нескладная, с широким изможденным лицом; курчавые волосы и огненные глаза очень красили ее. У нее была чахотка в последней стадии.

– А? Каково, барышня? – обратилась она к Мари хриплым, еле слышным голосом. – Хорошо бы заснуть, да невозможно, колеса словно вертятся у тебя в голове.

Несмотря на то, что ей трудно было говорить, девушка упорно продолжала рассказывать о себе. Она была матрасницей и долгое время вместе с теткой чинила матрасы по всем дворам Берси. Свою болезнь Гривотта приписывала загрязненному волосу, который ей приходилось чесать в юности. За пять лет девушка перебивалась во многих парижских больницах и говорила обо всех известных врачах, как о старых знакомых. Сестры больницы Ларибуазьер, видя, как ревностно выполняет она религиозные обряды, превратили ее в настоящую фанатичку и убедили, что лурдская богородица непременно ее исцелит.

– Конечно, мне это очень нужно; они говорят, что одно легкое никуда не годится, да и другое не лучше. Каверны, знаете ли... Сначала у меня болели лопатки, и я выплевывала мокроту, потом стала худеть и до того отошала, что смотреть стало не на что. Теперь я все время потею, кашляю так, что все нутро выворачивается, и не могу откашлять, такая густая мокрота... И, понимаете, я едва держусь на ногах и совсем не могу есть...

Она помолчала, задыхаясь от кашля; мертвенная бледность покрыла ее лицо.

– Ничего, мне все-таки лучше, чем вон тому больному, в купе позади вас. У него то же, что у меня, только ему гораздо хуже.

Она ошибалась. За спиной Мари, на тюфяке, действительно лежал молодой миссионер, брат Изидор, которого совсем не было видно, потому что от слабости он не мог даже двинуть пальцем. Однако болел он не чахоткой, а умирал от воспаления печени, которое схватил в Сенегале. Он был очень длинный и худой; его пожелтевшее, высохшее лицо казалось безжизненным, как пергамент. Нарыв, образовавшийся в печени, прорвался, и гной изнурял больного; его била лихорадка, мучили рвота, бред. Только глаза жили еще, излучая неугасимую любовь; их пламень освещал это лицо умирающего на кресте Христа, простое крестьянское лицо, которому страстная вера порой придавала величие. Он был бретонцем, последним хилым отпрыском многочисленной семьи; свой небольшой надел он оставил старшим братьям. Миссионера сопровождала его сестра Марта, на два года моложе его; она служила в Париже прислугой, но из преданности к брату бросила место, чтобы ехать с ним, и теперь проедала свои скудные сбережения.

– Я была на платформе, когда его сажали в вагон, – продолжала Гривотта. – Его несли четыре человека.

Больше она не могла говорить. У нее начался сильный приступ кашля, и она упала на скамейку. Девушка задыхалась, багровые пятна на ее скулах посинели. Сестра Гиацинта тотчас приподняла ей голову и вытерла губы платком, на котором проступили красные пятна. А г-жа де Жонкьер в это время оказывала помощь г-же Ветю, больной, лежавшей напротив нее. Г-жа Ветю была женой мелкого часовщика из квартала Муфтар, который не мог закрыть свою лавку,

чтобы сопровождать жену в Лурд. Поэтому она обратилась в Попечительство: по крайней мере хоть кто-то позаботится о ней. Страх перед смертью обратил ее к церкви, куда она не заглядывала с первого причастия. Г-жа Ветю знала, что она обречена: у нее был рак желудка, и лицо ее уже приобрело растерянное выражение и желтизну, свойственную людям, страдающим этой болезнью, а испражнения были черными, точно сажа. За все время, пока поезд находился в пути, она еще не произнесла ни слова: губы ее были плотно сжаты, она невыносимо страдала. Вскоре у нее началась рвота, и она потеряла сознание. Как только она открывала рот, из него вырывалось зловонное дыхание, заражавшее воздух и вызывавшее тошноту.

– Это невозможно, – пробормотала г-жа де Жонкьер, почувствовав себя нехорошо, – надо проветрить вагон.

Сестра Гиацинта как раз уложила Гривотту на подушку.

– Конечно, откроем на несколько минут окно. Только не с этой стороны, я боюсь нового приступа кашля. Откройте у себя.

Жара усиливалась, в тяжелом, тошнотворном воздухе нечем было дышать, и все с облегчением вздохнули, когда в открытое окно хлынула свежая струя. В вагоне началась уборка: сестра вылила содержимое сосудов, дама-попечительница вытерла губкой пол, который ходунном ходил от жестокой тряски. Надо было все прибрать. Тут явилась новая забота: четвертая больная, сидевшая до сих пор неподвижно, захотела есть. Это была худенькая девушка, лицо ее было закрыто черным платком.

Госпожа де Жонкьер со спокойной самоотверженностью сейчас же предложила ей свои услуги.

– Не беспокойтесь, сестра, я нарежу ей хлеб маленькими кусочками.

Мари хотелось немного отвлечься от своих мыслей, и она заинтересовалась неподвижной фигурой, скрытой под черным покрывалом. Она подозревала, что на лице девушки, очевидно, язва. Ей сказали, что это служанка. Несчастливая девушка, пикардийка, по имени Элиза Руке, вынуждена была оставить место и теперь жила в Париже у сестры, которая очень грубо с ней обращалась. В больницу с такой болезнью ее не брали. Очень богомольная, Элиза уже много месяцев жаждала попасть в Лурд. Мари с затаенным страхом ждала, когда девушка откинет платок.

– Кусочки достаточно мелкие? – ласково спросила г-жа де Жонкьер. – Вы сумеете проглотить их в рот?

Хриплый голос пробормотал из-под платка:

– Да, да, сударыня. – Наконец платок был снят, и Мари вздрогнула от ужаса. У девушки была волчанка – мало-помалу она разъела ей нос и губы; на слизистых оболочках образовались язвы; некоторые из них подживали и покрывались корочками, но тут же возникали другие. Лицо, обрамленное жесткой шевелюрой, как-то вытянулось, приобрело сходство с собачьей мордой, которое особенно подчеркивали большие круглые глаза. Носовых хрящей почти не существовало, рот запал, верхняя губа вспухла и потеряла форму. Из огромной язвы вытекал гной с сукровицей.

– Ах, Пьер, посмотрите! – прошептала, дрожа, Мари.

Священник содрогнулся, глядя, как Элиза Руке осторожно просовывает маленькие кусочки хлеба в кровоточащую дыру, заменявшую ей рот. Все в вагоне побледнело при виде этого страшного зрелища. И одна мысль овладела паломниками, жившими только надеждой: «О пресвятая дева, всемогущая мать божья, какое чудо исцелиться от такой болезни!»

– Не будем думать о себе, если мы хотим быть здоровыми, дети мои, – сказала сестра Гиацинта.

И она начала второй круг молитв – пять скорбных песнопений: Иисус в саду Гефсиманском, Иисус бичуемый, Иисус, увенчанный терниями, Иисус, несущий крест, Иисус, умирающий на кресте. Затем последовала молитва: «На тебя, пресвятая дева, уповаю...»

Проехали Блуа, прошло уже добрых три часа, как поезд покинул Париж. Мари, отвернувшись от Элизы Руке, устремила теперь взгляд на больного, занимавшего место в другом купе, направо от нее, там, где лежал брат Изидор. Она уже раньше обратила внимание на этого бедно одетого, не старого еще человека в черном сюртуке; небольшого роста, худой, с изможденным лицом, по которому струился пот, и реденькой, седеющей бородкой, он, видимо, очень страдал. Больной сидел неподвижно в углу и ни с кем не говорил, устремив в пространство пристальный взгляд широко раскрытых глаз. Вдруг Мари заметила, что веки у него смежились и он теряет сознание.

Она обратила на него внимание сестры Гиацинты.

– Сестра, больному, кажется, дурно.

– Где, милое мое дитя?

– Вон там, у него запрокинулась голова.

Поднялось волнение, паломники встали, они хотели посмотреть на больного. Г-жа де Жонкьер крикнула сестре миссионера, Марте, чтобы та похлопала больного по рукам.

– Расспросите его, узнайте, чем он болен.

Марта тряхнула его, стала задавать вопросы. Человек ничего не отвечал, только хрипел, не открывая глаз. Раздался чей-то испуганный голос:

– Он, кажется, кончается.

Страх рос; по всему вагону поднялись разговоры, посыпались советы. Никто не знал больного. Он, по-видимому, ехал не от Попечительства, так как на шее у него не было билета того же цвета, что и поезд. Кто-то рассказал, что видел, как он прибыл за три минуты до отхода поезда, у него был усталый, измученный вид, и он еле дотащился до угла, где теперь умирал. Он едва дышал. Тут кто-то заметил билет, засунутый за ленту старого цилиндра, висевшего рядом.

– Слышите, он вздохнул! – воскликнула сестра Гиацинта. – Спросите, как его зовут.

Но в ответ на новый вопрос Марты больной только еле слышно простонал:

– Ох, как мне плохо!

Больше ничего нельзя было от него добиться. На все вопросы – кто он, откуда, чем болен, как ему помочь – он отвечал непрерывным стоном:

– Ох, мне плохо!.. Так плохо!

Сестра Гиацинта страшно волновалась: хоть бы ехать с ним в одном купе... Она решила обязательно к нему перейти. Но до Пуатье не было остановок. На больного было страшно смотреть, голова его снова запрокинулась.

– Он кончается, он кончается, – повторил тот же голос. – Боже мой! Что делать?

Сестра знала, что в поезде едет со святыми дарами отец Массиас из Общины успения, готовый напутствовать умирающих: каждый год в дороге кто-нибудь умирал. Но она не решилась воспользоваться тормозом, чтобы остановить поезд. Был и вагон-буфет, который обслуживала сестра Сен-Франсуа; там находился врач с аптечкой. Если больной доедет живым до Пуатье, где предполагалась получасовая остановка, ему будет оказана всяческая помощь. Ужасно, если он умрет до прибытия в Пуатье. Но мало-помалу все успокоились, больной начал дышать ровнее и, казалось, уснул.

– Умереть, не доехав до места, – прошептала, вздрагивая, Мари, – умереть у земли обетованной...

Отец пытался ее ободрить.

– Но ведь я тоже так страдаю, так страдаю! – воскликнула девушка.

– Доверьтесь святой деве, – сказал Пьер, – она хранит вас.

Мари не могла больше сидеть, пришлось снова уложить ее в тесный ящик. Отец и священник делали это с бесконечными предосторожностями, так как малейший толчок вызывал у нее стон. Она лежала точно мертвая, едва дыша, лицо ее, обрамленное пышными белокурыми

волосами, выражало страдание. А поезд уже четыре часа все мчался и мчался вперед. Вагон неистово качало оттого, что он был в хвосте поезда, сцепы скрипели, колеса неимоверно стучали. В окна, которые приходилось держать полуоткрытыми, влетала едкая, обжигающая пыль, жара становилась невыносимой, было душно, как перед грозой; рыжевато-серое небо постепенно заволочилось тяжелыми, неподвижными тучами. Тесные, зловонные купе, эти ящики на колесах, где люди ели, пили и удовлетворяли свои естественные надобности среди одуряющих стонов, молитв, песнопений, превратились в настоящее пекло.

Не одна Мари чувствовала себя хуже, чем обычно; другие также измучились в пути. Маленькая Роза, неподвижно лежавшая на коленях у своей безутешной матери, которая смотрела на ребенка большими, полными слез глазами, была так бледна, что г-жа Маэ дважды наклонялась и щупала ее руки, в страхе, что они уже похолодели. Г-жа Сабатье каждую минуту перекладывала с места на место ноги своего мужа – они так отекали, что он не в состоянии был держать их долго в одном положении. Брат Изидор, по-прежнему не приходивший в сознание, стал кричать; его сестра, не зная, чем ему помочь, приподняла его и прижала к себе. Гривотта как будто заснула, но всю ее сотрясала упорная икота, а изо рта текла струйка крови. Г-жу Ветю снова вырвало зловонной черной жидкостью. Элиза Руке перестала закрывать страшную зияющую рану на лице. А человек в дальнем углу продолжал хрипеть; дыхание его было прерывистым, казалось, он с минуты на минуту скончается. Тщетно г-жа де Жонкьер и сестра Гиацинта разрывались на части – они не в состоянии были облегчить столько страданий. Поистине адом был этот мчавшийся вагон, в котором скопилось так много горя и мук; от быстрого движения качался багаж – развешанное на крюках ветхое тряпье, старые корзинки, перевязанные веревками; а в крайнем купе десять паломниц, и пожилые и молодые, жалкие и безобразные, без усталости пели плаксивыми, пронзительными и фальшивыми голосами.

Пьер подумал об остальных вагонах этого белого поезда, перевозившего главным образом тяжелобольных: и в них были те же страдания. Потом он вспомнил о других поездах, выехавших в то утро из Парижа – сером и голубом, предшествовавших белому, а также зеленом, желтом, розовом, оранжевом, следовавших за ним. По всей линии от разных станций каждый час отходили поезда. Пьер думал и о тех поездах, которые вышли в тот день из Орлеана, Мана, Пуатье, Бордо, Марселя, Каркасона. Вся Франция по всем направлениям бороздили подобные поезда; они мчались к святому Гроту, чтобы выбросить к стопам святой девы тридцать тысяч больных и паломников. И в другие дни поток людей устремлялся туда, ни одной недели не проходило без того, чтобы в Лурде не появлялись паломники; не только Франция, вся Европа, весь мир пускался в путь, и в некоторые годы особенного религиозного подъема там бывало от трехсот до пятисот тысяч человек.

Пьеру казалось, что он слышит стук колес этих поездов, прибывающих отовсюду, стекающихся к одной точке, к Гроту, где пылают свечи. Их грохот мешался с болезненными воплями, с песнопениями, которые уносились вдаль. То были больницы на колесах, мчавшие безнадежно больных, исстрадавшихся людей, жаждущих выздоровления, обуреваемых неистовой надеждой получить хоть какое-то облегчение, уйти от угрозы смерти, страшной, скоростной смерти среди суетливой толпы. Они мчались и мчались, неся с собой всю скорбь земной юдоли, стремясь приблизиться к чудесной иллюзии, утешающей скорбящих и несущей исцеление больным.

Огромная жалость переполнила сердце Пьера, его охватило благоговейное чувство милосердия при виде стольких слез, при виде всех этих страданий, гложущих слабого, обездоленного человека. Он испытывал смертельную тоску, а в сердце его горел неугасимый огонь братской любви ко всем этим несчастным созданиям.

В половине одиннадцатого, когда отъехали от станции Сен-Пьер-дэ-Кор, сестра Гиацинта подала знак, и паломники начали третий курс молитв – пять славословий: воскресению Христову, вознесению, сошествию святого духа, успению пресвятой богородицы, венчанию пресвя-

той богородицы. Потом запели хвалу Бернадетте, бесконечную жалобу, состоявшую из шестидесяти строф с припевом «Ave Maria!» Убаюканные напевным ритмом, который медленно охватывал все существо, несчастные впадали в восторженное, полусонное состояние, блаженно ожидая чуда.

Глава II

За окнами расстилались зеленые пространства Пуату; аббат Пьер Фроман все глядел на убегающие деревья и наконец перестал их различать. Появилась и исчезла колокольня, – паломники перекрестились. В Пуатье должны были прибыть только в двенадцать тридцать пять, а пока поезд все мчался и мчался. Усталость от тяжелого, грозового дня росла. Молодой священник глубоко задумался; песнопение убаюкивало его, как равномерный звук прибоа.

Пьер забыл настоящее, он весь был во власти воскресшего прошлого. Он стал вспоминать то, что было давно, давно. Ему представился дом в Нейи, где он родился и жил по сей день, мирное жилище, располагавшее к труду, сад, засаженный прекрасными деревьями, отделенный от соседнего, точно такого же сада живой изгородью, обнесенной решеткой. Пьеру вспомнился летний день; вокруг стола, в тени развесистого каштана, сидели за завтраком отец, мать и старший брат; ему самому было в то время года три – четыре. Смутно припоминался отец, Мишель Фроман, знаменитый химик, член Института, почти не выходивший из своей лаборатории, которую он сам построил в этом пустынном квартале. Яснее представлялся Пьеру брат Гийом, которому тогда было четырнадцать лет – в тот день его отпустили из лицея и он находился дома, – а особенно хорошо видел он мать, такую кроткую и тихую; живые глаза ее светились добротой. Позднее Пьер узнал, сколько горя перенесла эта богобоязненная, верующая женщина, решившаяся из уважения и благодарности выйти замуж за человека неверующего, старше ее на пятнадцать лет, – он когда-то оказал большие услуги ее семье. Пьер, поздний плод этого брака, появился на свет, когда отцу шел уже пятидесятый год; он только помнил, что его мать была почтительна и во всем покорна воле отца, которого страстно полюбила; ее ужасно мучило сознание, что он обрек себя на погибель. И вдруг другое воспоминание нахлынуло на Пьера, страшное воспоминание о том дне, когда от несчастного случая – взрыва реторты в лаборатории – погиб его отец. Пьеру было тогда пять лет, он помнил малейшие подробности ужасного события, крик матери, когда она нашла изуродованный труп мужа среди обломков, затем ее ужас, рыдания и молитвы: она была уверена, что бог сразил нечестивца и навеки осудил его. Не решаясь сжечь его бумаги и книги, мать удовольствовалась тем, что заперла кабинет, куда никто больше не входил. С той минуты, преследуемая видениями ада, она носилась с мыслью оставить при себе младшего сына и воспитать его в строго религиозном духе: он должен был искупить неверие отца и вымолить ему прощение. Старший, Гийом, уже ушел из-под ее влияния, он вырос в коллеже, поддавался веяниям века, а этот, маленький, не уйдет из дому, наставником его будет священник. Ее тайной мечтой, страстной надеждой было увидеть сына священником, который служит свою первую обедню, освобождая души от вечных мук.

Другой образ возник перед глазами Пьера словно живой. Он вдруг увидел среди зеленых ветвей, пронизанных солнцем, Мари де Герсен такою, какой она предстала перед ним однажды утром у изгороди, отделявшей два соседних владения. Г-н де Герсен, принадлежавший к мелкому нормандскому дворянству, был архитектором-новатором. В то время он увлекся сооружением рабочих поселков с церквями и школами – это было большое начинание, но еще малоизученное; г-н де Герсен вложил в дело весь свой капитал – триста тысяч франков – с пылкостью и беспечностью, свойственными художникам-неудачникам. Г-жа де Герсен и г-жа Фроман сблизились на почве религии; но первая, строгая и решительная, была женщиной властной и железной рукой удерживала дом от крушения; она воспитывала обеих дочерей, Бланш и Мари, в суровом благочестии. Старшая отличалась серьезностью, как и мать, младшая, очень богомольная, обожала игры, была жизнерадостна и весь день заливалась звонким смехом. С раннего детства Пьер и Мари играли вместе, то и дело перелезая друг к другу в сад через изгородь; обе семьи жили общей жизнью. В то солнечное утро, о котором вспоминал Пьер, девочке было десять лет; ему уже минуло шестнадцать, и в следующий вторник он поступал в семина-

рию. Никогда еще Мари не казалась ему такой красивой, как в ту минуту, когда, раздвинув ветви, она внезапно появилась перед ним. Золотистые волосы девочки были такие длинные, что, распутившись, накрывали ее как плащом. Пьер снова с необычайной ясностью увидел ее лицо, круглые щечки, голубые глаза, розовые губы, матовый блеск белоснежной кожи. Мари была весела и ослепительна, как солнце, но на ресницах ее повисли слезы: она знала, что Пьер уезжает. Оба уселись в тени изгороди. Пальцы их сплелись, на сердце лежала тяжесть. Они были так невинно чисты, что никогда, даже во время игры, не обменивались клятвами. Но накануне разлуки нежность охватила их; не сознавая, что произносят уста, они клялись, что будут непрестанно думать друг о друге и встретятся когда-нибудь, как встречаются в небе – для вечного блаженства. Потом – они и сами не могли бы объяснить, как это произошло, – Пьер и Мари крепко обнялись и, обливаясь горячими слезами, поцеловались. Это дивное воспоминание всюду сопровождало Пьеру и после стольких лет тяжелого самоотречения жило в нем до сих пор.

Резкий толчок вывел его из задумчивости. Пьер оглянулся и как сквозь сон увидел всех этих страждущих людей: застывшую в своем горе г-жу Маэ, тихо стонавшую на коленях у матери маленькую Розу, Гривотту, задыхающуюся от кашля. На секунду мелькнуло веселое лицо с гетры Гиацинты в белой рамке воротника и чепца. Тяжелое путешествие продолжалось, вдали мерцал луч чудесной надежды. Постепенно прошлое снова завладело Пьером, новые воспоминания нахлынули на него; только убаюкивающий напев молитвы да неясные, как в сновидении, голоса долетали до его сознания.

Пьер учился в семинарии. Ясно представились ему классы, внутренний двор с деревьями. Но вдруг он, как в зеркале, увидел собственное лицо, лицо юноши – такое, каким оно было тогда, и он внимательно рассматривал его, как физиономию постороннего человека. У высокого и худого Пьера лицо было удлинненное, лоб очень крутой и прямой, как башня; книзу лицо суживалось, заканчиваясь острым подбородком. Он казался воплощением рассудочности, нежной была только линия рта. Когда серьезное лицо Пьера освещала улыбка, губы и глаза его принимали бесконечно мягкое выражение, проникнутое неутолимой жадной любовью, желанием отдать себя целиком чувству и жить полной жизнью. Но это продолжалось недолго, его снова обуревали мысли, им овладевало то стремление все познать и все постичь, которое постоянно жило в нем. Он всегда с удивлением вспоминал о семинарских годах. Как мог он так долго подчиняться суровой дисциплине, налагаемой слепой верой, послушно следовать ее канонам, ни в чем не разбираясь? От него требовалось полное отречение от разума, и он напряг волю, он подавил в себе мучительное желание узнать истину. Очевидно, его тронули слезы матери, и он хотел доставить ей то счастье, о котором она мечтала. Но теперь Пьер вспоминал вспышки возмущения, в глубине его памяти вставали ночи, проведенные в беспричинных, казалось бы, слезах, ночи, полные неясных видений, когда ему представлялась свободная, яркая жизнь и перед ним непрестанно реял образ Мари; она являлась ему такой, какой он видел ее однажды утром, ослепительно прекрасной; лицо ее было залито слезами, и она горячо целовала его. И сейчас один только этот образ остался перед ним, все остальное – годы обучения с их однообразными занятиями, упражнениями и религиозными обрядами, такими одинаковыми, – пропало в тумане, стерлось в сумерках, исполненных смертельной тишины.

Поезд на всех парах с грохотом промчался мимо какой-то станции. Пьера вновь обступили смутные видения. Мелькнула изгородь, а за нею поле, и Пьер вспомнил себя двадцатилетним юношей. Мысли его мешались. Серьезное недомогание заставило его прервать занятия и уехать в деревню. Он долго не видел Мари: дважды приезжал он в Нейи на время каникул и ни разу не мог с нею встретиться, потому что она постоянно бывала в отъезде. Пьер знал, что она серьезно заболела после падения с лошади; это случилось, когда ей минуло тринадцать лет, в переходный возраст. Мать, в отчаянии от болезни Мари, подчиняясь противоречивым предписаниям врачей, каждый год увозила ее на какой-нибудь курорт. Потом, словно гром среди

ясного неба, пришла весть о внезапной кончине матери, такой суровой, но такой необходимой для семьи. Это произошло при трагических обстоятельствах, в Бурбуле, куда она отвезла дочь для лечения. Воспаление легких свело ее в могилу в пять дней, а заболела она оттого, что как-то вечером на прогулке сняла с себя пальто и надела его на Мари. Отец поехал за телом умершей жены и за обезумевшей от горя дочерью. Хуже всего было то, что со смертью матери дела семьи в руках архитектора все больше запутывались: он без счета бросал деньги в бездну все новых предприятий. Мари, прикованная болезнью к кушетке, не двигалась с места; оставалась одна Бланш, но она была всецело поглощена в то время выпускными экзаменами. Девушка упорно добивалась диплома, сознавая, что ей придется зарабатывать средства на всю семью.

Внезапно среди полузабытых, неясных воспоминаний перед Пьером всплыло четкое видение. Расстроенное здоровье заставило его снова взять отпуск. Ему уже двадцать четыре года, он очень отстал от своих сверстников, преодолев за это время лишь четыре низших ступени церковной иерархии, однако по возвращении ему обещан сан младшего дьякона – это навсегда свяжет его с церковью нерушимым обетом. Перед взором Пьера с необычайной ясностью встало былое: он увидел сад Герсенов в Нейи, где так часто когда-то играл; под высокие деревья у изгороди прикатали кресло Мари, и они остались вдвоем в тот печальный осенний день; вокруг царил покой, девушка полулежала в глубоком трауре, откинувшись на спинку кресла, вытянув неподвижно ноги; Пьер, также в черном, одетый уже в сутану, сидел возле нее на железном стуле. Мари проболела пять лет. Ей минуло теперь восемнадцать, она похудела, побледнела и все же была очаровательна в ореоле пышных золотых волос, которые пощадила болезнь. Но Пьер знал, что она осталась калекой на всю жизнь и ей не суждено стать женщиной. Врачи, не сговариваясь, отказались ее лечить. По-видимому, об этом и говорила с ним Мари в тот хмурый осенний день, когда осыпались пожелтевшие листья. Пьер не помнил ее слов, но и сейчас видел лишь ее бледную улыбку, прелестное лицо этого разочарованного в жизни юного существа. Потом он понял, что она вызывает в памяти далекий день их прощания на этом самом месте, за изгородью, пронизанной солнечными лучами; но все умерло – и слезы, и поцелуи, и обещание встретиться для взаимного счастья. Они, однако, встретились, но к чему это теперь? Она была все равно что мертвая, а он собирался умереть для мирской жизни. С той минуты, как врачи произнесли над нею свой приговор и ей не суждено было стать ни женщиной, ни супругой, ни матерью, он тоже мог от всего отречься и посвятить себя богу, которому отдала его мать. Пьер остро ощущал нежную горечь последнего свидания: Мари болезненно улыбалась, вспоминая их былые ребячества, и говорила о счастье, – он, без сомнения, найдет его в служении богу; она была растрогана и взяла с него обещание пригласить ее на первую свою обедню.

На станции Сен-Мор внимание Пьера на минуту привлек какой-то шум в вагоне. Он подумал, что с кем-нибудь случился припадок, новый обморок. Но страдальческие лица, которые он обвел взглядом, не изменились и хранили то же выражение боязливого ожидания божественной милости, медлившей снизойти. Г-н Сабатье старался уложить поудобнее ноги, брат Изидор беспрерывно стонал, словно умирающий ребенок, а г-жа Ветю, у которой опять начался ужасный приступ, еле дышала, стиснув губы от невероятной боли в желудке; почерневшее лицо ее перекосила болезненная гримаса. Оказалось, что г-жа де Жонкьер, споласкивая таз, опрокинула цинковый кувшин. И, несмотря на муки, это развеселило больных – страдания превращали простодушных людей в младенцев. Тотчас же сестра Гиацинта, справедливо называвшая их детьми, послушными первому ее слову, предложила взяться за четки в ожидании Angelus'a, который, согласно установленному порядку, должны были прочесть в Шательро. Начались молитвы богородице, и еле слышное бормотание затерялось в грохоте колес.

Пьеру исполнилось двадцать шесть лет, он сделался священником. Сомнения стали одолевать его. Только за несколько дней до произнесения обета в нем пробудилось запоздалое сознание, что он навеки связывает себя этим обетом, не подумав как следует о последствиях

своих действий. Но он избегал об этом думать, оставался глух ко всему, кроме своего решения, считая, что одним ударом отсек в себе все человеческое. Правда, плоть его умерла вместе с невинным романом детства; беленькая девочка с золотыми волосами превратилась теперь в калек, прикованную к своему скорбному ложу, и плоть ее была так же мертва, как и его собственная. Он принес в жертву церкви и свой разум, предполагая тогда, что пожертвовать им еще легче, чем чувством: стоит лишь пожелать – и не будешь думать. К тому же было слишком поздно, ведь нельзя отступать в последнюю минуту; и если в тот час, когда Пьер произносил торжественный обет, он ощутил тайный ужас, смутное сожаление, то это уже позабылось; он был несказанно вознагражден за все огромной радостью своей матери: она наконец дождалась дня, когда сын в ее присутствии отслужил первую обедню. Пьеру казалось, что он и сейчас еще видит свою мать в маленькой церкви в Нейи, которую она сама избрала для его первой службы, – в этой церквушке отпевали его отца. Пьер вспомнил, как холодным ноябрьским днем она почти одна стояла на коленях в темной часовне и, закрыв лицо руками, долго плакала, в то время как он давал причастие. Там она вкусила последнюю радость, так как жизнь ее протекала в одиночестве и печали; она не встречалась со старшим сыном, который ушел от нее, отдавшись новым веяниям, после того как Пьер стал готовиться в священники. По слухам, Гийом, такой же талантливый химик, как и его отец, но человек, отошедший от своей среды, увлекшись революционными утопиями, жил в маленьком домике в пригороде и занимался опасными опытами со взрывчатыми веществами; поговаривали также, – и именно это послужило причиной окончательного разрыва его с набожной матерью, придерживавшейся строгих взглядов на жизнь, – что он находится в связи с женщиной сомнительного происхождения. Прошло три года, как Пьер, с детства обожавший весельчака Гийома, не виделся со старшим братом, который заменял ему отца. Сердце Пьера сжалось, он вспомнил о смерти матери. Это тоже было подобно удару грома среди ясного неба: она умерла внезапно, как и г-жа де Герсен, проболев едва три дня. Проискав целый вечер доктора, Пьер застал ее мертвой, недвижимой, похолодевшей. И на всю жизнь у него сохранилось ледяное ощущение последнего поцелуя. Он не помнил остального – ни бодрствований у тела покойной, ни приготовлений, ни похорон. Эти воспоминания потонули в охватившем его мрачном оцепенении, в безысходном горе, от которого он чуть не умер; по возвращении с кладбища Пьер заболел горячкой и три недели метался в бреду, был между жизнью и смертью. Старший брат ухаживал за ним, потом уладил все денежные дела, разделив наследство: Пьеру достался дом и скромная рента; свою часть Гийом взял деньгами, а как только Пьер оказался вне опасности, он ушел и вернулся к своему безвестному существованию. Как долго поправлялся Пьер – один, в пустынном доме! Он ничего не сделал, чтобы удержать Гийома, он понимал, что их разделяет бездна. Сначала Пьер тяготился одиночеством, потом он познал его сладость в тиши комнат, редко нарушаемой уличным шумом, в скромной тени маленького садика, где он проводил целые дни, не видя живой души. Убежищем ему служили главным образом бывшая лаборатория и кабинет отца, которые не открывались в течение двадцати лет. Мать Пьера наглухо заперла их точно для того, чтобы навеки замуровать там прошлое осужденного на погибель нечестивца. Быть может, несмотря на ее мягкость и почтительную покорность мужу в былое время, она в конце концов уничтожила бы документы и книги, не застигни ее внезапно смерть. Пьер велел открыть окна, вытереть пыль с письменного стола и книжного шкафа и, устроившись в большом кожаном кресле, проводил там восхитительные часы, словно возродившись после болезни; к нему снова вернулась молодость, и он с наслаждением читал все, что попадалось под руку.

Единственный человек, которого он принимал у себя в течение двух месяцев медленного выздоровления, был доктор Шассень, старый друг его отца; обладая большими знаниями, Шассень довольствовался скромной ролью практикующего врача и единственное удовлетворение своему честолюбию находил в успешном лечении пациентов. Он безрезультатно пользовал г-жу Фроман, но зато мог похвастать, что вылечил молодого священника от серьезной

болезни; доктор иногда заходил к Пьеру, болтал с ним, развлекал его, говорил о его отце, великом химике, и был неистощим, рассказывая о нем забавные истории, проникнутые чувством горячей дружбы. Мало-помалу перед выздоравливающим возникал обаятельный образ, исполненный простоты, нежности и добродушия. Таким в действительности и был его отец, а вовсе не тем суровым человеком науки, каким представлялся он когда-то Пьеру со слов матери. Само собою разумеется, она всегда воспитывала в сыне глубокое почтение к дорогой памяти покойного; но тем не менее он был неверующим, он отрицал религию и ополчался против бога. Таким и сохранился в памяти сына сумрачный облик отца: призраком, осужденным на вечные муки, бродил он по дому; теперь же он стал светлой улыбкой этого дома, тружеником, жаждавшим истины, стремившимся к всеобщему счастью и любви.

Доктор Шассень, родом из пиренейской деревни, где еще верили в колдовство, имел, пожалуй, некоторую склонность к религии, хотя за сорок лет, что он прожил в Париже, Шассень ни разу не зашел в церковь. Но он был совершенно уверен, что Мишель Фроман, если существует небо, занимает там место у престола, одесную господя бога.

В несколько мгновений Пьер вновь пережил то ужасное смятение духа, в котором он когда-то пребывал целых два месяца. Быть может, его тогда натолкнули на это книги антирелигиозного содержания, найденные им в библиотеке отца, или, разбирая бумаги покойного ученого, он сделал открытие, что тот занимался не только техническими изысканиями; а быть может, просто мало-помалу и помимо его воли в самом Пьере совершился переворот – ясность научной мысли просветила его: совокупность доказанных явлений разрушила догматы, ничего не оставив из того, во что ему, как священнику, полагалось верить. Казалось, болезнь обновила его, он вновь начал жить и заново учиться; а физическая слабость и сладость выздоровления придавали его разуму особую проницательность. В семинарии, по совету наставников, он всегда обуздывал в себе дух исследования, желание все познать. То, чему его учили, не захватывало его; но он приносил в жертву свой разум, этого требовало благочестие. И вот разум возмутился и предъявил свои права на существование. Пьер уже не мог заставить его безмолвствовать, и все тщательное построение догматов было вмиг сметено. Истина кипела, переливалась через край таким неудержимым потоком, что Пьер понял – никогда больше не вернуться ему к прежним заблуждениям. Это было полное и непоправимое крушение веры. Если он мог умертвить свою плоть, отказавшись от увлечений юности, если он сознавал себя господином своей чувственности и сумел подавить в себе мужчину, то он знал, что пожертвовать разумом он не в силах. Он не обманывал себя – в нем возрождался отец, который в конце концов победил влияние матери, так долго тяготевшее над Пьером. Прямой высокий лоб, казалось, стал теперь еще выше, тогда как острый подбородок и мягкий рот как-то ступенчались. Однако Пьер страдал; порой им овладевала безысходная грусть от сознания, что он не верит, и от безумного желания верить; особенно одолевала его тоска в сумеречные часы, когда в нем пробуждалась доброта, неутолимая жажда любви; но вносили лампу, вокруг делалось светло, и покой восстанавливался. Пьер вновь чувствовал прилив энергии и сил, стремление пожертвовать всем ради спокойствия совести.

В душе его произошел перелом – Пьер был священником и в то же время неверующим. У ног его внезапно разверзлась бездонная пропасть. Это был конец, полное крушение жизни. Что делать? Разве простая честность не подсказывала ему, что надо сбросить сутану, вернуться к людям? Но Пьеру встречались отступники, и он презирал их. Один из его знакомых священников женился – это вызывало в Пьере отвращение. Несомненно, здесь сказывалось длительное религиозное воспитание: в его душе сохранилось убеждение в нерушимости священнического обета – раз посвятив себя богу, нельзя отступать. Быть может, действовало и то, что Пьер чувствовал себя как бы отмеченным, слишком отличным от других, и боялся оказаться чересчур неловким, никому не нужным. Приняв священнический сан, он хотел жить особняком, замкнувшись в своей скорбной гордыне. И после многих дней глубокого разду-

мья и непрекращающейся борьбы с самим собою, с потребностью счастья, громко заявившей о себе в связи с восстановившимся здоровьем, Пьер принял героическое решение – остаться священником и притом священником честным. У него хватит силы воли на такое самоотречение. И если он не мог укротить свой разум, то сумел смирить плоть и дал клятву! Сдержат обет целомудрия; его решение было непоколебимо, и Пьер был совершенно уверен, что проживет жизнь чистую и праведную. Кому какое дело до остального, ведь он один будет страдать; никто в мире не узнает, что в его сердце затаено отсутствие веры, ужасная ложь, которая будет терзать его всю жизнь. Его твердой поддержкой станет порядочность, он честно выполнит свой долг священника, не нарушая данных им обетов, продолжая соблюдать все ритуалы в качестве божьего слуги; он будет молиться и прославлять с амвона бога. Кто же осмелится вменить ему в вину утрату веры, даже если когда-нибудь и узнают об этом великом несчастье? И что еще смогут потребовать от него, если он, без всякой надежды на награду в будущем, будет чтить свой сан и отдаст всю жизнь исполнению своей клятвы и милосердию. Пьер успокоился, не падал духом, ходил с высоко поднятой головой; в нем было скорбное величие неверующего священника, зорко наблюдающего, однако, за верой своей паствы. Он сознавал, что не одинок, у него, несомненно, есть братья по убеждениям, такие же священники, истерзанные сомнением, опустошенные, но оставшиеся у алтаря, как солдаты без отечества, и находившие в себе мужество поддерживать у коленопреклоненной толпы иллюзорную веру в божество.

Окончательно выздоровев, Пьер вернулся к своим обязанностям аббата маленькой церкви в Нейи. Каждое утро он служил обедню. Но он твердо отказывался от каких бы то ни было повышений. Проходили месяцы, годы, а он упорно оставался тем безвестным, скромным священником, какие встречаются в небольших приходах, – они появляются и исчезают, выполнив свой долг. Всякое повышение в сане, казалось Пьеру, усугубило бы обман, было бы воровством в отношении более достойных. Ему нередко приходилось отклонять всевозможные предложения, так как достоинства его не могли остаться незамеченными; архиепископ удивлялся его упорной скромности – ему хотелось воспользоваться силой, которая угадывалась в Пьере. Лишь иногда Пьер горько сожалел, что не приносит достаточной пользы; его мучило пламенное желание способствовать какому-нибудь великому деянию, умиротворению на земле, спасению и благоденствию человечества. К счастью, днем он был свободен и находил утешение в иступленной работе: поглотив все книги из библиотеки отца, Пьер стал изучать его труды, а потом с жаром принялся за историю народов, желая проникнуть в сущность социального и религиозного зла, чтобы узнать, нет ли способов исцеления от него.

Однажды утром, роясь в одном из больших ящиков книжного шкафа, Пьер наткнулся на объемистую папку, содержащую множество материалов о лурдских чудесах. Там были копии допросов Бернадетты, судебные протоколы, донесения полиции, врачебные свидетельства, не считая интереснейшей частной и секретной переписки. Пьера удивила находка, и он обратился за разъяснениями к доктору Шассеню, который вспомнил, что его друг, Мишель Фроман, действительно как-то заинтересовался делом ясновидящей Бернадетты и с увлечением изучал его; он сам, уроженец соседней с Лурдом деревни, добыл для химика часть документов. Пьер, в свою очередь, целый месяц увлекался этим делом; его подкупал образ Бернадетты, девушки прямой и чистой сердцем, но все, что возникло впоследствии – варварский фетишизм, болезненное суеверие, преступная торговля таинствами, – глубоко возмущало его. При переживаемом им душевном переломе эта история была словно создана для того, чтобы ускорить крушение его веры. Но она возбудила и любопытство Пьера, он хотел бы расследовать это дело, установить бесспорную научную истину, оказать незапятнанному христианству услугу, избавив его от ненужного шлама, засоряющего эту трогательную детскую сказку. Однако Пьеру пришлось отказаться от своего исследования – его остановила необходимость поездки в Лурд, к Гроту, и величайшие трудности, связанные с получением недостающих сведений. Но у него

сохранилась нежность к очаровательному образу Бернадетты, и он всегда думал о ней с бесконечной жалостью.

Шли дни, и одиночество Пьера становилось все более полным. Доктор Шассень бросил клиентуру и уехал в Пиренеи в смертельной тревоге: он повез в Котере больную жену, которая медленно угасала у него на глазах; с ним вместе уехала прелестная дочь, уже взрослая девушка. С этой поры опустелый маленький дом в Нейи погрузился в мертвую тишину. У Пьера осталось лишь одно развлечение – иногда он навещал де Герсенов, выехавших из соседнего дома и поселившихся в тесной квартирке бедного квартала. И воспоминание о первом посещении их было так живо, что у Пьера сжималось сердце каждый раз, как он вспоминал свое волнение при виде печальной Мари.

Пьер очнулся и, посмотрев на Мари, увидел ее такой, какой застал тогда: она уже лежала в своем лубке, прикованная к этому гробу, который в случае необходимости можно было поставить на колеса. Девушка, такая жизнерадостная, любившая движение и смех, теперь умирала от бездеятельности и неподвижности. Единственно, что сохранилось в ней, – это волосы, покрывавшие ее золотистым плащом; но она так похудела, что казалась ребенком. А больше всего надрывал сердце ее пристальный, но отсутствующий взгляд, говоривший о забвении всего, кроме ее тяжелой болезни.

Мари заметила, что Пьер смотрит на нее, и чуть улыбнулась, но тут же застонала; и какой жалкой была улыбка бедной, пораженной недугом девушки, убежденной, что она не доживет до чуда! Пьер был потрясен; он никого не видел и не слышал, кроме нее, во всем этом переполненном страданиями вагоне, словно все муки сосредоточились в ней одной, в медленном умирании ее молодости, красоты, веселости.

Не спуская глаз с Мари, Пьер снова вернулся к воспоминаниям о прошедших днях; он вкушал часы горького и грустного очарования, которые пережил подле нее во время посещения маленькой, убогой квартирки. Г-н де Герсен разорился вконец, мечтая возродить церковную живопись, раздражавшую его своей посредственностью. Последние гроши его поглотил крах типографии, печатавшей цветные репродукции; рассеянный, неосмотрительный, полагаясь на бога, вечно носясь с ребяческими иллюзиями, он не замечал возраставшей нужды, не видел, что старшая дочь, Бланш, проявляет чудеса изобретательности, чтобы заработать на хлеб для своего маленького мирка – своих двух детей, как она называла отца и сестру. Бланш давала уроки французского языка и музыки; она с утра до вечера, и в пыль и в слякоть, мерила улицы Парижа и находила средства для постоянного ухода за Мари. А той нередко овладевало отчаяние, она заливалась слезами, считая себя главной виновницей разорения семьи, которая столько лет тратилась на докторов и возила ее по всевозможным курортам – в Бурбуль, Экс, Ламалу, Анели. Теперь, через десять лет, после противоречивых диагнозов и лечений, врачи отказались от нее: одни считали, что у нее разрыв связей, другие находили опухоль, третьи констатировали паралич; а так как она не допускала подробного осмотра, который возмущал ее девическую стыдливость, и даже не отвечала на некоторые вопросы, то каждый из врачей оставался при своем мнении, считая ее неизлечимо больной. Впрочем, сама больная надеялась только на божье милосердие – с тех пор, как Мари заболела, она стала еще более набожной. Большим огорчением для нее была невозможность ходить в церковь, но она каждое утро читала положенные молитвы. Неподвижные ноги совсем омертвели, и порой она была так слаба, что сестре приходилось ее кормить.

Пьер вспомнил один вечер. Лампы еще не зажигали; он сидел возле Мари в темноте, и вдруг она сказала, что хочет поехать в Лурд, она уверена, что вернется оттуда исцеленной. Ему стало не по себе; забывшись, он назвал безумием веру в такие ребяческие бредни. Пьер никогда не говорил с Мари о религии, отказавшись не только быть ее духовником, но даже разрешать невинные сомнения набожной девушки. В нем говорили целомудрие и жалость, ей он не мог лгать, а с другой стороны, он чувствовал бы себя преступником, если бы хоть

немного омрачил огромную, чистую веру, в которой Мари черпала силу, помогавшую ей переносить страдания. Вот почему он был недоволен собой за невольно вырвавшиеся слова и очень смутился. Вдруг маленькая холодная ручка коснулась его руки; тихо, ободренная темнотой, Мари надломленным голосом решила открыть ему, что знает его тайну, – она догадалась о его несчастье, страшной муке неверия, непереносимой для священника. Он сам невольно все поведал ей в их беседах, а она с интуицией больного человека, дружески расположенного к нему, проникла в самую сокровенную глубину его совести. Она страшно беспокоилась за него, она жалела его больше, чем себя самое, сознавая томившую его смертельную муку. А когда пораженный Пьер не нашел ответа, подтверждая своим молчанием истину ее слов, Мари снова заговорила о Лурде, добавив тихо, что хотела и его поручить святой деве, умолить ее вернуть ему веру. С этого вечера Мари не переставала говорить о Лурде, повторяя, что вернется оттуда исцеленной. Но ее останавливал вопрос о деньгах, и она даже не решалась заговорить об этом с сестрой. Прошло два месяца, Мари слабела с каждым днем; ее одолевали мечты, и взор ее обращался туда, к сиянию чудодейственного Грота.

Для Пьера настали тяжелые дни. Сперва он наотрез отказался сопровождать Мари. Потом решение его поколебалось, он подумал, что может с толком использовать время, потраченное на путешествие, и собрать сведения о Бернадетте, чей очаровательный образ жил в его сердце. Наконец он проникся сладостным чувством, неосознанной надеждой, что, быть может, Мари права: святая дева сжалятся над ним и вернет ему слепую веру, невинную веру ребенка, который любит не рассуждая. О, верить, всей душой погрузиться в религию! Какое невероятное счастье! Он стремился к вере со всею радостью молодости, со всею силой любви к матери, со жгучим желанием уйти от муки знания, уснуть навеки в божественном неведении. Какая дивная надежда и сколько малодушия в этом стремлении обратиться в ничто, отдаться всецело в руки бога!

Так у Пьера возникло желание сделать последнюю попытку.

Через неделю вопрос о поездке в Лурд был решен. Но Пьер потребовал созвать консилиум, чтобы узнать, можно ли перевозить Мари, и тут ему вспомнилась еще одна сцена, его упорно преследовали некоторые подробности, тогда как другие уже стерлись из памяти. Двое врачей, давно пользовавших больную, – один, констатировавший разрыв связок, другой паралич, явившийся следствием поражения спинного мозга, – сошлись в мнении, что у Мари паралич и, возможно, некоторые нарушения со стороны связок; все симптомы были налицо, случай казался им настолько ясным, что они, не задумываясь, подписали свидетельства с почти одинаковым диагнозом. Они считали путешествие возможным, но крайне тяжелым для больной. Мнение этих врачей заставило Пьера решиться, так как он считал их очень осторожными, очень добросовестными в своем желании выяснить истинное положение вещей. У него сохранилось смутное воспоминание о третьем враче, Боклере, его дальнем родственнике, пытливом молодом человеке, но малоизвестном и слывшем чудаком. Он долго смотрел на Мари, интересовался ее родственниками по восходящей линии, внимательно выслушал то, что ему рассказывали о г-не де Герсене, архитекторе-изобретателе, преувеличенно впечатлительном и бесхарактерном. Затем он измерил зрительное поле больной, незаметно, путем пальпации, выяснил, что боль локализовалась в левом яичнике и что при нажиме эта боль подступала к горлу тяжелым клубком, который душил ее. Он не придавал никакого значения диагнозу своих коллег о параличе ног. И на прямой вопрос воскликнул, что больную надо везти в Лурд, больная непременно исцелится, раз она в этом уверена. Он говорил о Лурде вполне серьезно, – лишь бы была вера; две его пациентки, очень верующие, которых он послал в прошлом году в Лурд, вернулись совершенно здоровыми. Он даже предсказал, как произойдет чудо: это будет молниеносно, больная очнется после состояния сильнейшего возбуждения, и адская боль, которая мучит девушку, появившись в последний раз, исчезнет вдруг. Но врач решительно отказался дать письменное свидетельство. Он расходился в мнении со своими коллегами, а они очень холодно

отнеслись к его молодому задору. Пьер смутно припоминал отдельные фразы спора, обрывки высказываний Боклера на совещании врачей: вывих с легкими разрывами связок вследствие падения с лошади, затем медленное восстановление пораженных связок; а позже возникли уже нервные явления: больная под действием первоначального испуга не переставала думать о своем недуге, все ее внимание сосредоточилось на пораженной точке, и боль стала расти. Только сильный толчок, какое-нибудь исключительное потрясение может вывести больную из этого состояния. Впрочем, он допускал неправильный обмен веществ, однако вопрос этот был еще мало исследован, поэтому он не решался высказаться о большом значении этого фактора. Но мысль, что болезнь Мари воображаемая, что ужасные страдания, мучившие ее, были следствием давно вылеченного повреждения, показалась Пьеру настолько парадоксальной, что он даже не придавал ей значения – ведь он видел девушку умирающей, он видел ее безжизненные ноги. Его только радовало, что все три врача сошлись в мнении, допускавшем поездку в Лурд. Достаточно было сознания, что Мари может поправиться, – и он готов был сопровождать ее на край света.

Ах, в какой суматохе провел он последние дни в Париже! Скоро начнется паломничество. Пьеру пришла на ум мысль просить Попечительство госпитализировать Мари, чтобы избежать лишних расходов. Затем ему пришлось немало похлопотать, чтобы его самого приняли в Попечительство богородицы всех скорбящих. Г-н де Герсен был в восторге; он любил природу и горел желанием видеть Пиренеи; он ни о чем не заботился, ничего не имел против того, чтобы молодой священник взял на себя дорожные расходы, оплату гостиницы на месте – словом, ухаживал бы за ним, как за малым ребенком; а когда Бланш в последнюю минуту сунула отцу луидор, он счел себя богачом. Бедная, доблестная Бланш! Она скопила пятьдесят франков, пришлось взять их, иначе она бы обиделась: ей тоже хотелось хоть чем-то помочь выздоровлению сестры, а сопровождать ее она не могла: она осталась в Париже, чтобы по-прежнему мерить его из конца в конец, бегая по урокам в то время, как ее родные будут преклонять колена в чудодейственном Гроте. Они уехали. И поезд все мчался и мчался вперед.

На станции Шательро внезапный гул голосов встряхнул Пьера, оторвав его от мечтаний. Что случилось? Разве уже приехали в Пуатье? Но был только полдень, и сестра Гиацинта возвестила чтение *Angelus'a*, состоящего из трех троекратно повторяемых молитв богородице. Голоса то затихали, то звучали вновь, начиная новое песнопение, изливаясь в длительной жалобе. Еще добрых двадцать пять минут – и будет получасовая остановка в Пуатье; это хоть немного облегчит страдания. Как было плохо, как ужасно качало в зловонном, жарком вагоне! Сколько горя! Крупные слезы катились по щекам г-жи Венсен, глухие проклятия вырывались у г-на Сабатье, обычно такого сдержанного, а брат Изидор, Гривотта и г-жа Ветю казались безжизненными, бездыханными, подобными обломкам корабля, уносимым волной. Мари молча лежала с зажмуренными глазами и не хотела их открывать; ее преследовало, как призрак, страшное лицо Элизы Руке с зияющей язвой, – оно казалось воплощением смерти. И пока поезд, ускоряя ход, мчал под грозовым небом по пылающим от зноя равнинам все это людское море, среди пассажиров снова началась паника: больной в углу перестал дышать, кто-то крикнул, что он кончается.

Глава III

Как только поезд остановился в Пуатье, сестра Гиацинта заторопилась к выходу, проталкиваясь сквозь толпу поездной прислуги, открывавшей двери, и паломников, спешивших покинуть вагон.

– Подождите, подождите, – повторяла она. – Дайте мне пройти первой, я должна посмотреть, неужели все кончено?

Войдя в соседнее купе, она приподняла голову больного и, увидев его смертельно бледное лицо и безжизненные глаза, подумала сперва, что он действительно умер; но он еще дышал.

– Нет, нет, он дышит. Скорее, надо торопиться.

И, обратившись ко второй сестре, которая была на этом конце вагона, сказала:

– Прошу вас, сестра Клер Дезанж, сбегайте за отцом Массиасом, он, должно быть, в третьем или четвертом вагоне. Скажите ему, что у нас здесь тяжелобольной, пусть сейчас же несет святые дары.

Не ответив, сестра исчезла в толпе. Она была небольшого роста, худенькая, с загадочным взглядом, кроткая и очень сдержанная, но чрезвычайно деятельная.

Пьер, молча следивший за этой сценой из своего купе, спросил:

– Не пойти ли за доктором?

– Конечно, я тоже об этом думала, – ответила сестра Гиацинта. – Ах, господин аббат, не откажите в любезности, сходите за ним сами!

Пьер как раз собирался пойти в вагон-буфет за бульоном для Мари. Когда прекратилась тряска, больной стало немного легче, она открыла глаза и попросила отца посадить ее. Ей очень хотелось хоть на минуту спуститься на перрон, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но она чувствовала, что такая просьба обременительна, слишком было бы трудно внести ее обратно.

Господин де Герсен, позавтракав в вагоне как и большинство паломников и больных, закурил папиросу возле открытой двери, а Пьер побежал к вагону-буфету, где находился дежурный врач с аптечкой.

Несколько больных остались в вагоне – нечего было и думать куда-то их выносить. Гривотта задыхалась и бредила, из-за нее задержалась г-жа де Жонкьер, которая условилась встретиться в буфете со своей дочерью Раймондой, г-жой Вольмар и г-жой Дезаньо, чтобы вместе позавтракать. Как же оставить эту несчастную, почти умирающую больную одну, на жесткой скамейке? Марта также не двинулась с места и продолжала сидеть возле брата; миссионер тихонько стонал. Прикованный к своему месту, г-н Сабатье ждал жену, она пошла купить ему винограду. Остальные пассажиры, те, что могли передвигаться, толкались, торопясь хоть на миг выйти из кошмарного вагона и размять ноги, онемевшие за семь часов пути. Г-жа Маэ тотчас же отошла в сторонку, стремясь спрятать от людей свое горе. Г-жа Ветю, отупевшая от боли, с усилием прошла несколько шагов и упала на скамью на самом солнце – она даже не чувствовала его обжигающих лучей; а Элиза Руке, которую мучила жажда, искала, закрывшись черным платком, где бы напиться свежей воды. Г-жа Венсен медленно прогуливалась с Розой на руках; она пыталась улыбаться и как могла развлекала дочь, показывая ей ярко раскрашенные картинки, а девочка серьезно смотрела на них невидящими глазами.

Пьер с большим трудом пробивал себе дорогу в толпе, запрудившей платформу. Трудно представить себе этот живой поток калек и здоровых, которых поезд выбросил на перрон; свыше восьмисот человек волновались, сустились, куда-то бежали, задыхались. Каждый вагон выгрузил столько горя, сколько может вместиться в целом походном госпитале; сумма страданий, которые перевозил этот страшный белый поезд, была невероятной; недаром в пути о нем создавались легенды, исполненные ужаса. Немощные, еле живые люди кое-как тащились по платформе, некоторых несли на носилках, там и сям стояли, сбившись в кучу, группы людей.

Вокруг была толчея, люди громко перекликались, без памяти спеша в буфет и к стойкам, где продавались напитки. Каждый торопился по своим делам. Эта получасовая остановка, единственная по дороге в Лурд, была такой короткой! И только сияющая белизна одежды деловито мелькавших сестер Общины успения – их белоснежные чепцы, нагрудники и передники – вносила разнообразие в море черных сутан и поношенного платья неопределенного цвета, в которое был одет весь этот бедный люд.

Когда Пьер наконец подошел к вагону-буфету, находившемуся в середине поезда, толпа людей уже осаждала вход. Там стояла маленькая керосиновая плита и целая батарея кухонной посуды. Бульон из концентратов подогревался в жестяных котелках; тут же выстроились литровые банки сгущенного молока, – его разводили и употребляли по мере надобности. Другие запасы – печенье, шоколад, фрукты – лежали в шкафу. Сестра Сен-Франсуа, работавшая в буфете, женщина лет сорока пяти, низенькая и полная, с добрым свежим лицом, теряла голову от множества протянутых к ней жадных рук. Продолжая раздавать еду, она слушала Пьера, который беседовал с доктором, сидевшим со своей дорожной аптечкой в другом купе вагона.

Узнав из рассказа молодого священника о несчастном умирающем, сестра Сен-Франсуа попросила заменить ее: ей хотелось пойти посмотреть на больного.

– Сестра, а я хотел получить у вас бульону для одной больной.

– Ну что ж, господин аббат, я принесу. Идите вперед.

Они поспешно вышли – аббат и доктор переговаривались между собой, а сестра Сен-Франсуа шла за ними с чашкой, осторожно продвигаясь в толпе, чтобы не пролить бульон. Доктор, высокий брюнет лет двадцати восьми, был очень красив собой и походил на молодого римского императора; такие лица еще и сейчас встречаются на выжженных полях Прованса. Заметив его, сестра Гиацинта с удивлением воскликнула:

– Как! Это вы, господин Ферран?

Оба были изумлены встречей. Сестрам Общины успения поручалась доблестная миссия ухаживать за больными, главным образом за бедняками, умирающими в своих мансардах из-за недостатка средств; сестры проводят всю жизнь возле этих больных, в тесных комнатах, подле убогих коек, выполняют самую тяжелую работу, готовят, хозяйничают, заменяют прислугу и родственниц и остаются у больных до их выздоровления или смерти. Вот каким образом молоденькая сестра Гиацинта с молочно-белым лицом и смеющимися голубыми глазами попала однажды к молодому человеку, тогда еще студенту, заболевшему брюшным тифом; он был очень беден и жил на улице Дюфур в комнате на чердаке, под самой крышей, куда вела деревянная лесенка. Сестра Гиацинта не покидала его и, ухаживая за ним со свойственной ей страстной самоотверженностью, спасла от смерти; когда-то ее ребенком нашли на церковной паперти, и у нее не было другой семьи, кроме больных, которым она была предана всей своей пылкой, любящей душой. Молодые люди провели вместе чудесный месяц, а после между ними установились чистые, товарищеские, братские отношения, скрепленные страданием. Называя ее «сестра», Ферран как бы на самом деле обращался к родной сестре. Она была для него и матерью, – помогала ему вставать и укладывала спать, как свое родное дитя; и никогда ничто не возникало между ними, кроме великой жалости, глубокого умиления, которым проникаются люди, творящие милосердие. Она была веселым существом, всегда готова помочь и утешить, и порой даже забывала о том, что она женщина, а он обожал ее, питал к ней величайшее уважение и сохранил о ней самые целомудренные и нежные воспоминания.

– Ах, сестра Гиацинта, сестра Гиацинта! – прошептал он в восторге.

Их встреча была совершенно случайной. Ферран не был верующим и оказался здесь только потому, что в последний момент согласился заменить товарища, которому что-то помешало ехать. Уже с год как Ферран был практикантом в одной из парижских больниц. Его очень заинтересовала поездка в Лурд при таких исключительных обстоятельствах.

Обрадовавшись свиданию, они позабыли о больном. Но сестра Гиацинта быстро спохватилась:

– Видите ли, господин Ферран, мы позвали вас к этому несчастному человеку. Одно время мы даже думали, что он умер... От самого Амбуаза он очень беспокоит нас, я только что послала за святыми дарами... Как вы находите, он очень плох? Нельзя ли ему помочь?

Молодой врач уже осматривал умирающего; остальные больные в вагоне заволновались, глядя во все глаза на происходящее. Рука Мари, державшая принесенную сестрой Сен-Франсуа чашку с бульоном, так дрожала, что Пьер должен был взять ее, чтобы накормить девушку; но она не могла допить бульон, глаза ее выжидающе следили за больным, как будто речь шла о ней самой.

– Скажите, как вы находите его, – снова спросила сестра Гиацинта, – чем он болен?

– Чем он болен? – пробормотал Ферран. – Да всем на свете!

Он вынул из кармана пузырек и попробовал разжать стиснутые зубы больного, влить ему в рот несколько капель. Тот вздохнул, поднял веки, снова опустил их, и это было все – больше он не проявлял никаких признаков жизни.

Сестра Гиацинта, обычно такая спокойная и никогда не приходившая в отчаяние, заволновалась:

– Но это ужасно! А сестра Клер Дезанж не идет! Ведь я ей точно объяснила, в каком вагоне отец Массиас... Бог мой, что с нами будет?

Видя, что ее присутствие бесполезно, сестра Сен-Франсуа решила вернуться в свой вагон. Сперва она спросила, не умирает ли человек просто от голода; это случается, вот она и пришла, чтобы предложить ему что-нибудь съесть. Уходя, она обещала поторопить сестру Дезанж, если встретит ее; но не успела она пройти и нескольких шагов, как обернулась и указала на сестру, возвращавшуюся своей неслышной походкой, без священника.

Сестра Гиацинта, стоя в дверях, торопила сестру Дезанж.

– Скорей, идите же скорей!.. А где отец Массиас?

– Его там нет.

– Как! Его там нет?

– Нет. Как я ни спешила, пробраться быстро сквозь эту толпу не было никакой возможности. Когда я вошла в вагон, отец Массиас уже ушел – очевидно, в город.

Она объяснила, что, по слухам, отец Массиас должен был встретиться со священником церкви святой Радегонды. Прошлые годы паломники останавливались в Пуатье на сутки: больных помещали в городской больнице, а остальные отправлялись процессией в церковь святой Радегонды. Но в этом году что-то помешало устроить такое шествие и решено было проследовать прямо в Лурд, а отец Массиас, очевидно, отправился по делам к священнику.

– Мне обещали прислать его сюда со святыми дарами, как только он вернется.

Сестра Гиацинта пришла в полное отчаяние. Раз наука не может ничем помочь, быть может, святыне дары облегчили бы состояние больного. Ей часто приходилось это видеть.

– Ах, сестра, сестра!.. Как я огорчена!.. Будьте так добры, вернитесь туда, дождитесь отца Массиаса и приведите его, лишь только он появится.

– Хорошо, сестра, – послушно ответила сестра Дезанж и ушла со свойственным ей серьезным и таинственным видом, как тень скользя в толпе.

Ферран все смотрел на больного, огорчаясь, что не может доставить сестре Гиацинте радость и оживить его. И когда врач безнадежно махнул рукой, она попросила:

– Господин Ферран, останьтесь со мной, пока не придет отец Массиас... Мне будет спокойней.

Он остался и помог приподнять больного, который соскальзывал со скамейки. Сестра взяла полотенце и вытерла умирающему лицо, то и дело покрывавшееся обильным потом.

Ожидание продолжалось: находившимся в вагоне становилось не по себе, у дверей толпились любопытные.

Какая-то девушка, пробравшись сквозь толпу, быстро поднялась на ступеньку вагона и окликнула г-жу де Жонкьер.

– Что случилось, мама? Мы ждем тебя в буфете.

Это была Раймонда де Жонкьер, двадцатипятилетняя, чересчур пышная для своего возраста брюнетка с крупным носом, большим ртом и приятным, полным лицом, удивительно похожая на мать.

– Дитя мое, ты же видишь, я не могу оставить эту бедную женщину.

Госпожа де Жонкьер указала на Гривотту, сотрясающуюся от кашля.

– Ах, мама, какая жалость! Госпожа Дезаньо и госпожа Вольмар с таким нетерпением ждали этого завтрака вчетвером!

– Что же делать, милочка!.. Начните без меня. Скажи им, что я приду, как только освобожусь.

Внезапно ей пришла в голову мысль:

– Подожди, здесь доктор, я попытаюсь поручить ему больную... Иди, я скоро буду. Знаешь, я просто умираю от голода!

Раймонда быстро вернулась в буфет, а г-жа де Жонкьер попросила Феррана оказать помощь Гривотте. По просьбе Марты он уже осмотрел брата Изидора, продолжавшего стонать, и снова безнадежно махнул рукой. Затем, поспешив к чахоточной, он посадил ее, надеясь остановить кашель, который в самом деле постепенно прекратился, и помог даме-попечительнице дать больной глоток успокоительного лекарства.

Присутствие врача взволновало больных. Г-н Сабатье медленно ел виноград, принесенный женой, и не обращался к доктору, заранее зная ответ, – он уже устал советоваться со светилами науки, как он выражался; все же и он приободрился, когда врач помог бедной девушке, чье соседство было ему неприятно. Даже Мари с возрастающим интересом смотрела на врача, не решаясь подозвать его: она была уверена, что он бессилен ей помочь.

Толкотня на перроне увеличилась. До отхода поезда оставалось всего четверть часа. Бесчувственная ко всему, с открытыми, невидящими глазами, г-жа Ветю дремала на солнцепеке, а г-жа Венсен, укачивая Розу, продолжала медленно прогуливаться с больной девочкой на руках, такой легкой, что мать не ощущала ноши. Многие бежали к крану, чтобы наполнить водой жбаны, бидоны, бутылки. Г-жа Маэ, женщина аккуратная и чистоплотная, хотела помыть руки, но, подойдя к крану, отшатнулась: она увидела Элизу Руке, – девушка собиралась напиться. Многие отступили, не решаясь брать воду, содрогаясь при виде этой страшной маски – головы с лицом, похожим на собачью морду, изуродованную огромной язвой, из которой высовывался язык. Множество паломников расположилось завтракать на платформе. Слышался ритмичный стук костылей – какая-то женщина без конца ходила взад и вперед. По земле полз непонятно зачем и куда безногий калека. Несколько человек, усевшись в кружок, застыли, словно изваяния. Весь этот походный госпиталь, выгруженный на полчаса, отдыхал на свежем воздухе, а кругом, под полуденным солнцем, снова ошалелая толпа здоровых, бесконечно печальных и несчастных бедняков.

Пьер не отходил от Мари, так как г-н де Герсен исчез, привлеченный зеленеющим пейзажем, открывавшимся за станцией. Молодой священник, обеспокоенный тем, что Мари не доела бульон, попытался, улыбаясь, соблазнить больную лакомством и предложил купить ей персик, но она отказывалась: ей было очень плохо, и ничто не доставляло удовольствия. Она смотрела на Пьера своими большими, полными безысходной грусти глазами; ее раздражала эта остановка, отодвигавшая возможность исцеления, и в то же время ужасала перспектива тряски во время тяжелого, бесконечного пути.

Какой-то тучный мужчина подошел и коснулся руки Пьера. У него были чуть тронутые сединой волосы, длинная борода обрамляла широкое слащаво-благообразное лицо.

– Простите, господин аббат, не в этом ли вагоне умирает несчастный больной?

Священник ответил утвердительно, и незнакомец исполнился еще большего добродушия и дружелюбия.

– Меня зовут Виньерон, я – помощник начальника отдела в министерстве финансов и взял отпуск, чтобы сопровождать жену и сына Гюстава в Лурд... Милое дитя всю свою надежду возлагает на святую деву, и мы молимся ей денно и ночью... Мы тут, рядом, занимаем купе в вагоне второго класса.

Потом он повернулся и поманил рукой своих.

– Идите, идите, это здесь. Несчастный больной в самом деле очень плох.

Госпожа Виньерон была аккуратная мешаночка, маленькая, шуплая, с бескровным длинным лицом; сын очень походил на мать. Ему исполнилось пятнадцать лет, но на вид казалось не больше десяти; он был худ, как скелет, его высохшая правая нога безжизненно висела, и мальчик опирался на костыль. На худеньком личике, перекошенном гримасой, жили одни глаза; их взгляд, в котором светился ум, обостренный страданием, казалось, пронизывал человека насквозь.

За ними, с трудом переставляя ноги, шла старая дама с одутловатым лицом; г-н Виньерон, забывший было про нее, снова подошел к Пьеру, чтобы уж познакомить его со всеми членами семьи.

– Госпожа Шез, старшая сестра моей жены; она очень любит Гюстава и также захотела сопровождать его.

Наклонившись, он доверительно добавил тихим голосом:

– Госпожа Шез – вдова фабриканта шелков и очень богата. У нее порок сердца, это ее беспокоит.

И все семейство, сгрудившись, стало с величайшим любопытством наблюдать за тем, что происходило в вагоне. То и дело подходили новые люди; отец взял сына на руки, чтобы тому было виднее, г-жа Шез держала костыль, а мать приподнялась на цыпочки.

В вагоне все оставалось по-прежнему; больной сидел в углу, вытянувшись, прислонясь головой к жесткой дубовой перегородке. Он закрыл глаза, губы его передергивала судорога, мертвенно-бледное лицо покрывалось холодным потом, который сестра Гиацинта время от времени вытирала полотенцем; она больше не говорила ни слова, к ней вернулась ясность духа, и, ничем не выражая своего нетерпения, она уповала на бога; изредка она поглядывала на платформу, не идет ли отец Массиас.

– Смотри, Гюстав, – сказал г-н Виньерон сыну, – это, должно быть, чахоточный?

Золотушный мальчик, с искривленным позвоночником, весь в чирьях, казалось, со страстным интересом следил за агонией умирающего. Ему ничуть не было страшно, и он только улыбался бесконечно грустной улыбкой.

– О, это ужасно! – пробормотала г-жа Шез; она побледнела от страха перед смертью, всегда охватывавшего ее при мысли о внезапном конце.

– Что ж, – глубокомысленно произнес г-н Виньерон, – всякому свой черед, все мы смертны.

Какая-то странная ирония промелькнула в болезненной улыбке Гюстава, – он будто слышал иные слова, неосознанное пожелание, надежду, что старая тетка умрет раньше него и он получит в наследство обещанные пятьсот тысяч франков; да и сам он недолго будет обременять семью.

– Спусти его на землю, – сказала г-жа Виньерон мужу. – Ты утомляешь его, держа за ноги.

Она и г-жа Шез засуетились, оберегая мальчика от толчков. Голубчик, о нем все время надо заботиться! Родные каждую минуту боялись его потерять. Отец считал, что лучше всего

сейчас же посадить Гюстава в вагон. И когда женщины повели его в купе, т-н Виньерон с волнением добавил, обращаясь к Пьеру:

– Ах, господин аббат, если господь бог отнимет его у нас, с ним вместе уйдет наша жизнь... Я уже не говорю о наследстве, которое перейдет к другим племянникам. Ведь это было бы противоестественно – он не может умереть раньше тетки, особенно если учесть состояние ее здоровья... Что делать? Все в божьей воле, а мы уповаем на святую деву; уж, конечно, она сделает так, чтобы все было к лучшему.

Наконец г-жа де Жонкьер, успокоенная доктором Ферраном, оставила Гривотту на его попечении. Однако, уходя, она сказала Пьеру:

– Я умираю от голода, побегу на минуту в буфет. Только прошу вас, если моя больная снова раскашляется, придите за мной.

С большим трудом перейдя платформу, она снова попала в толчею. Более состоятельные паломники с бою заняли в буфете все столики; особенно торопились священники, их было очень много; кругом стоял стук ножей, вилок и посуды. Три или четыре официанта разрывались на части, не успевая подавать; им мешала толпа, теснившаяся возле стойки, покупая фрукты, хлебцы, холодное мясо. Там-то за столиком, в глубине залы, и завтракала Раймонда в обществе г-жи Дезаньо и г-жи Вольмар.

– Ах, мама, наконец-то! Я хотела опять идти за тобой. Надо же тебе поесть!

Девушка оживленно смеялась, радуясь дорожным приключениям и этому скверному завтраку на скорую руку.

– Я тебе оставила порцию форели с подливкой и котлетку... А мы уже едим артишоки.

Завтрак прошел чудесно. Приятно было смотреть на эту беззаботную компанию.

Особенно очаровательна была молоденькая г-жа Дезаньо, нежная блондинка с копной золотистых волос и молочно-белым круглым личиком с ямочками, смеющимся и добрым. Она была замужем за богатым человеком и три года подряд, оставив мужа в Трувиле, сопровождала в середине августа паломничество в качестве дамы-патронессы: она страстно увлекалась этим, ее охватывала трепетная жалость, потребность в течение пяти дней всецело отдавать себя больным; она делала это от всей души и возвращалась разбитая от усталости, но довольная. Ее единственное огорчение состояло в том, что у нее не было ребенка, и она иногда с комической горячностью сожалела, что не знала раньше о своем призвании сестры милосердия.

– Ах, милочка, – с живостью сказала она Раймонде, – не жалейте, что вашу мать так поглощает забота о больных. По крайней мере у нее есть дело.

И, обращаясь к г-же де Жонкьер, она продолжала:

– Если б вы знали, как долго тянутся часы в нашем прекрасном купе первого класса! Нельзя даже заняться рукоделием, это запрещено... Я просила, чтобы меня поместили с больными, но все места оказались заняты, и этой ночью мне только и остается, что спать в своем углу.

Рассмеявшись, она добавила:

– Ведь мы заснем, госпожа Вольмар, правда? Разговор утомляет вас!

Госпоже Вольмар, брюнетке с продолговатым, изможденным и тонким лицом, было за тридцать; по временам ее прекрасные, большие, горящие, как уголь, глаза словно заволакивались пеленой и как будто угасали. С первого взгляда г-жа Вольмар не казалась красивой, но в ней было что-то волнующее и покоряющее, что-то вызывавшее в мужчинах страстное желание. Впрочем, она старалась не привлекать к себе внимания; женщина скромная, она одевалась всегда в черное и не носила драгоценностей, хотя была женой ювелира.

– О, – пробормотала она, – лишь бы меня не трогали, больше мне ничего не надо.

В самом деле, г-жа Вольмар уже дважды ездила в Лурд в качестве дамы-помощницы, но ее ни разу не видели в Больнице богородицы всех скорбящих – она так уставала с дороги, что, по ее словам, не в состоянии была выйти из комнаты.

А начальница палаты, г-жа де Жонкьер, относилась к ней чрезвычайно снисходительно.

– Ах, боже мой! У вас хватит работы, мои милые. Спите, если можете, вы замените меня, когда я свалюсь с ног. А ты, душечка, – обратилась она к дочери, – не волнуйся слишком, а то совсем потеряешь голову.

Но Раймонда, улыбаясь, с упреком посмотрела на нее.

– Мама, мама, зачем ты так говоришь?.. Разве я не достаточно благоразумна?

Она не хвасталась, ее серые глаза выражали твердую волю, решимость самой устроить свою судьбу, несмотря на беспечность молодости, просто-напросто радующейся жизни.

– Это верно, – немного смущенно призналась мать, – моя девочка иногда более практична, чем я... Ну-ка, дай мне котлетку, она очень кстати! Боже, как я голодна!

Завтрак продолжался, г-жа Дезаньо и Раймонда вносили в него оживление своим беспрерывным смехом. Девушка развеселилась, ее лицо, слегка пожелтевшее в ожидании замужества, приобрело свежие краски. Ели за обе щеки, потому что времени оставалось только десять минут. Шум в зале усилился, пассажиры боялись, что не успеют выпить кофе.

Появился Пьер: Гривотта снова задыхалась. Г-жа де Жонкьер доела артишоки и вернулась в вагон, поцеловав на прощание дочь, которая весело пожелала ей доброй ночи. Священник подавил невольное удивление, заметив г-жу Вольмар с красным крестом дамы-попечительницы на черном корсаже. Он был с ней знаком, так как до сих пор изредка навещал мать ювелира старую г-жу Вольмар, давнишнюю знакомую его матери. Это была страшная женщина, благочестивая сверх всякой меры, жесткая, невероятно строгих правил: она даже закрывала ставни, чтобы невестка не могла смотреть на улицу. Пьер знал историю этого брака – молодая женщина с первого же дня после свадьбы жила взаперти между грозной свекровью и уродом мужем, который чуть ли не бил ее из дикой ревности, хотя сам имел содержанок. Ее пускали изредка только в церковь. Однажды в троицын день Пьер узнал ее тайну: он увидел ее за свекровью с хорошо одетым, интеллигентного вида мужчиной; она быстро обменялась с ним несколькими словами. Священник находил оправдание ее греху, неизбежному падению, бросающему женщину в объятия случайного друга, умеющего хранить тайну; он понимал, какая страсть сжигала их, не находя удовлетворения, с каким трудом было добыто это свидание, которого ждали неделями и которое пролетит как миг в пламени ненасытного желания.

Госпожа Вольмар смутилась и подала ему свою маленькую теплую руку.

– Ах, какая встреча! Господин аббат... как я давно вас не видела!

Она рассказала, что уже третий год ездит в Лурд – свекровь заставила ее вступить в Попечительство богоматери всех скорбящих.

– Удивительно, что вы не видели мою свекровь на вокзале. Она обычно сажает меня в вагон и встречает, когда я возвращаюсь.

Это было сказано очень просто, но за словами ее скрывалась такая ирония, что Пьер, казалось, угадал, в чем дело. Он знал, что г-жа Вольмар совсем не религиозна и ходит иногда в церковь, только чтобы вырваться на свободу; чутье подсказало ему, что ее ждут в Лурде. Скромная и пылкая, с огненными глазами, пламя которых она скрывала под маской холодного равнодушия, эта женщина, видимо, устремлялась навстречу своей страсти.

– А я, – сказал Пьер, – сопровождаю подругу детства, несчастную больную девушку... Я рекомендую ее вашему вниманию, поухаживайте за ней...

Госпожа Вольмар слегка покраснела, и Пьер все понял. Раймонда стала расплачиваться за завтрак, держась уверенно, как молодая особа, разбирающаяся в цифрах, а г-жа Дезаньо увела г-жу Вольмар. Официанты суетились, столы пустели, публика, услышав звонок, бросилась на перрон.

Пьер также заторопился, но его снова задержали.

– А, господин кюре, – воскликнул Пьер, – я видел вас перед отъездом, но не мог к вам подойти и поздороваться!

Он протянул руку старому священнику, смотревшему на него с добродушной улыбкой. Аббат Жюден служил в Салиньи, небольшой коммуне департамента Уазы. Он был высокого роста, полный, с широким розовым лицом, обрамленным седыми кудрями; чувствовалось, что это благочестивый человек, здоровый телом и духом. Спокойный и простодушный, он твердо, непоколебимо верил, как верят дети, не зная ни борьбы с сомнениями, ни страстей. С тех пор, как лурдская богоматерь исцелила его от болезни глаз – прогремевшее чудо, о котором не переставали всюду говорить, – вера его стала еще более слепой и умиленной, исполненной неизъяснимой благодарности.

– Я рад, что вы с нами, мой друг, – проговорил он тихо, – молодым священникам очень полезно такое паломничество... Мне говорили, что иногда их обуревают дух возмущения. Вы увидите, как молятся все эти бедняки, и это зрелище исторгнет у вас слезы... Как не покориться воле божьей, когда столько страждущих могут обрести исцеление и утешиться!

Аббат также сопровождал больную; он показал купе первого класса, на дверях которого висела карточка с надписью: оставлено для г-на аббата Жюдена. И, понизив голос, Жюден добавил:

– Это госпожа Дьелафе, знаете, жена банкира. Их имение, богатейшее поместье, в моем приходе. Когда они узнали, что пресвятая дева отметила меня своей милостью, то просили предстательствовать перед нею за бедную больную... Я уже отслужил две обедни, воссылая пламенные молитвы... Поглядите, вон она; больная непременно хотела, чтобы ее вынесли из вагона, несмотря на то что внести ее обратно будет трудно.

На перроне, в тени, действительно стояло нечто вроде длинного ящика, и в нем лежала красивая женщина лет двадцати шести, с правильным овалом лица и прекрасными глазами. Ужасная болезнь поразила ее: исчезновение из организма известковых солей повлекло за собой медленное разрушение всего костного остова. Два года тому назад, разрешившись от бремени мертвым ребенком, она почувствовала боли в позвоночнике. Вследствие деформации костей вся она стала как будто меньше, тазовые кости сплющились, позвонки осели, тело стало менее упругим и потеряло устойчивость; в конце концов она превратилась в жалкое подобие человека, в нечто текучее, чему нет названия; ее должны были переносить на руках с бесконечными предосторожностями, из опасения, как бы она тут же не растаяла. Голова ее была по-прежнему красива, но лицо словно окаменело, поражая своим бессмысленным и тупым выражением. Сердце невольно сжималось при взгляде на это жалкое подобие женщины, и даже не столько от вида несчастной, сколько от роскоши и богатства, окружавших ее даже в агонии, – от этого обитого стеганым голубым шелком ящика, от покрывала из дорогих кружев, чепчика из валансьена.

– Ужасно жаль ее! – вполголоса проговорил аббат. – Подумать только, такая молодая, красивая и богатая! А если бы вы знали, как ее любили, каким обожанием окружают еще и теперь!.. Высокий мужчина возле нее – ее муж, а нарядная дама – ее сестра, госпожа Жуссер.

Пьер вспомнил, что часто встречал в газетах имя жены дипломата, г-жи Жуссер, игравшей очень видную роль в парижских высших католических кругах. Ходили даже слухи о каком-то романе – страстной любви, с которой она боролась и которую наконец превозмогла. Г-жа Жуссер, женщина очень красивая, одетая просто, но с изумительным вкусом, самоотверженно ухаживала за своей несчастной сестрой. Муж больной, совсем недавно, в тридцать пять лет получил в наследство от отца огромное дело; этот красивый, цветущий, выхолонный мужчина, затянутый в черный сюртук, обожал жену; бросив дела, он повез ее в Лурд, возлагая все надежды на божественное милосердие; в глазах его стояли слезы.

Пьер с самого утра видел немало ужасных страданий в этом скорбном белом поезде. Но ничто не потрясло так его душу, как этот жалкий, разлагающийся остов миллионерши, одетой в кружева.

– Несчастная! – прошептал он с содроганием.

Аббат Жюден, исполненный непоколебимой надежды, взмахнул руками.

– Пресвятая дева исцелит ее! Я так молился!

Вновь послышался звонок, до отхода поезда осталось две минуты. Паломники на перроне бросились к своим вагонам, нагруженные пакетами с едой, бутылками и бидонами, наполненными водою. Многие, заблудившись, не находили своих вагонов и растерянно бежали вдоль поезда; торопливо стуча костылями, тащились больные; те из них, кто передвигался с трудом, пытались ускорить шаги – их поддерживали под руки дамы-попечительницы. Четыре человека с большим трудом втаскивали в купе первого класса г-жу Дьелафе. Виньероны, которые удовольствовались путешествием во втором классе, уже уселись среди груды корзин, баулов и чемоданов, мешавших Гюставу вытянуть ноги и руки, похожие на лапки искалеченного насекомого. Затем появились и остальные: молча проскользнула г-жа Маэ; за нею г-жа Венсен, приподнимая свою любимую дочурку на вытянутых руках из опасения, как бы та не застонала от боли; г-жу Ветю пришлось пробудить от ее мучительного сна; Элиза Руке, тщетно пытавшаяся напиться, промокла насквозь и теперь вытирала свое ужасное лицо. Пока все занимали места, Мари слушала г-на де Герсена, который прогулялся по перрону и дошел до будки стрелочника; теперь он восторженно рассказывал, какой оттуда открывается чудесный вид.

– Хотите, мы сейчас же уложим вас? – спросил Пьер, огорченный страдальческим выражением лица Мари.

– Ах, нет, нет, не сейчас! – ответила она. – Меня еще успеет оглушить грохот этих колес, от него голова разламывается.

Сестра Гиацинта упросила Феррана перед возвращением в вагон-буфет еще раз осмотреть больного. Она продолжала ждать отца Массиаса, удивляясь его необъяснимому запозданию и все еще надеясь увидеть его, так как сестра Клер Дезанж не вернулась.

– Господин Ферран, прошу вас, скажите, бедняга в самом деле так плох?

Молодой врач снова выслушал больного и, безнадежно махнув рукой, тихо произнес:

– Я убежден, что вы не довезете его до Лурда живым.

Все боязливо вытянули головы. Хотя бы знать, как его зовут, откуда и кто он! Ведь от несчастного незнакомца нельзя было добиться ни слова, он так и умрет в этом вагоне безымянным!

Сестра Гиацинта решила его обыскать. Право, при данных обстоятельствах в этом не было ничего плохого.

– Господин Ферран, посмотрите у него в карманах.

Тот осторожно обыскал больного. В карманах он нашел только четки, нож и три су. Так больше ничего и не узнали.

В эту минуту кто-то сказал, что пришла сестра Клер Дезанж с отцом Массиасом. Тот, оказывается, разговаривал в одной из зал ожидания с кюре из церкви святой Радегонды. Все заволновались; казалось, найден выход из положения. Но поезд уже отправлялся, кондуктора закрывали дверцы вагонов, надо было спешно совершить соборование, чтобы слишком долго не задерживать поезд.

– Сюда, преподобный отец! – воскликнула сестра Гиацинта. – Да, да, поднимитесь сюда, наш несчастный больной здесь.

Отец Массиас учился в семинарии вместе с Пьером, но был на пять лет старше его. Высокого роста, худой, с лицом аскета, обрамленным светлой бородкой, и с горящими глазами, страстный проповедник, он всегда готов был бороться и побеждать во славу пресвятой девы. Его не смущали сомнения, но в нем не чувствовалось и детской веры. В этом священнике в черной сутане с большим капюшоном и мягкой широкополой шляпе ощущалось неумемое стремление к борьбе.

Подойдя к больному, отец Массиас поспешно вынул из кармана серебряный ковчег со святыми дарами. Обряд начался под хлопанье дверей: запоздавшие паломники спешили

занять места, а начальник станции с беспокойством глядел на часы, понимая, что приходится жертвовать несколькими минутами.

– Credo in unum Deum... – быстро бормотал священник.

– Amen², – ответила сестра Гиацинта, а за нею и весь вагон.

Кто мог, стал на скамейках на колени. Другие сложили руки, крестились, а когда за молитвами последовали, согласно ритуалу, литании, голоса молящихся зазвучали громче, в них слышалось страстное желание получить отпущение грехов, помолиться духовно и физически. Да будет прощена вся безвестная жизнь умирающего, да вступит он, неведомый и торжествующий, в царство божие.

Отец Массиас вынул серебряную иглу, на кончике которой дрожала капля елея. Он не мог в этой спешке, когда целый поезд ждал его и любопытные головы высывались из окон, совершить соборование по всем правилам, помазав елеем все органы чувств – эти двери, через которые проникает зло. Как это допускается церковью в экстренных случаях, ему пришлось ограничиться помазанием губ, полуоткрытых бледных губ, откуда вырывалось едва заметное дыхание, в то время как лицо с закрытыми веками, казалось, уже не принадлежало этому миру, обретя пепельный оттенок праха земного.

Конец обряда был скомкан в суете отъезда. Отец Массиас едва успел вытереть каплю елея ваткой, которую сестра Гиацинта держала наготове. Он торопился к себе в вагон и убирал ковчег со святыми дарами, пока присутствующие доканчивали молитву.

– Нельзя больше ждать, это невозможно! – повторял начальник станции вне себя. – Скорее, скорее!

Наконец все было готово к отправлению. Пассажиры заняли места, каждый забился в свой уголок.

Госпожа де Жонкьер, обеспокоенная состоянием Гривотты, села поближе к ней, напротив г-на Сабатье, который молча, покорно ждал, что будет дальше. Сестра Гиацинта не вернулась в свое купе, решив остаться возле умирающего; кстати, там ей было удобнее присматривать за братом Изидором, – Марта не знала, как ему помочь. А Мари, побледнев, казалось, уже чувствовала всем своим наболевшим телом толчки поезда, хотя он еще не двинулся с места, чтобы везти под палящим солнцем в духоте и зловонии перегретых вагонов свой груз больных и несчастных людей. Раздался свисток, паровоз запыхтел, и сестра Гиацинта встала:

– Magnificat, дети мои!

² Верую во единого бога... – Аминь (лат.).

Глава IV

Поезд уже тронулся, когда дверца вагона отворилась и кондуктор втолкнул в купе, где находились Мари и Пьер, девочку лет четырнадцати.

– Ну вот! Здесь есть место, торопитесь!

Лица вытянулись, пассажиры запротестовали было. Но сестра Гиацинта воскликнула:

– Как! Это вы, Софи! Вы снова возвращаетесь к святой деве? Ведь она вас исцелила в прошлом году!

А г-жа де Жонкьер проговорила:

– Ах, Софи, милая девочка, как это хорошо, что вы чувствуете такую благодарность!..

– Ну, конечно, сестра! Конечно, сударыня, – кротко отвечала девочка.

Дверца захлопнулась, пришлось поневоле примириться с новой паломницей, свалившейся как снег на голову в последнюю минуту перед отходом поезда, на который она чуть не опоздала. Девочка худенькая и много места не займет. К тому же ее знают сестра Гиацинта и г-жа де Жонкьер, а то, что пресвятая дева исцелила ее, приковало к ней все взоры. Поезд отошел от станции, паровоз запыхтел, колеса застучали, и сестра Гиацинта повторила, хлопнув в ладоши:

– Ну, дети мои, начнем *Magnificat*.

Пока продолжалось ликующее песнопение, Пьер разглядывал Софи. По-видимому, она была крестьянкой, дочерью какого-нибудь бедного землепашца из окрестностей Пуатье; но родители, видно, баловали ее и воспитывали барышней, с тех пор как она оказалась избранницей, которую исцелила святая дева, и на нее приезжали смотреть священники со всей округи. На девочке была соломенная шляпа с розовыми лентами и серое шерстяное платье, украшенное воланом. Круглое лицо ее нельзя было назвать красивым, но оно отличалось свежестью и миловидностью, и на нем сверкали светлые лукавые глазки; девочка скромно улыбалась.

Когда паломники окончили «*Magnificat*», Пьер не удержался и стал расспрашивать Софи. Девочка, на вид такая правдивая, не могла лгать; она очень заинтересовала его.

– Значит, вы чуть не опоздали на поезд, дитя мое?

– О господин аббат, мне было бы очень стыдно опоздать... Я пришла на вокзал к двенадцати часам и увидела господина кюре из церкви святой Радегонды, он меня хорошо знает, он позвал меня, поцеловал и сказал, что я хорошая девочка, потому что опять еду в Лурд. И вдруг оказалось, что поезд отходит, и я едва добежала... Ну и бежала же я!

Она еще не успела отдышаться и, с трудом переводя дух, смеялась, пристыженная тем, что по легкомыслию едва не совершила оплошности.

– А как вас зовут, дитя мое?

– Софи Куто, господин аббат.

– Вы не из самого Пуатье?

– Нет, конечно... Мы из Вивонны, в семи километрах от Пуатье. У родителей там небольшой клочок земли, и все шло бы неплохо, да только нас восемь человек детей... Я – пятая. К счастью, четверо старших уже работают.

– А вы, дитя мое, что делаете?

– Я, господин аббат? Моя помощь невелика... С прошлого года, когда я исцелилась и вернулась домой, у меня нет дня спокойного: все приезжают смотреть на меня, потом меня возили к его высокопреосвященству, в монастыри, всюду... А до этого я долго болела, ходила с палкой, кричала от каждого шага, такая у меня была боль в ноге.

– Так, значит, святая дева исцелила вас от этой боли?

Софи не успела ответить, – в разговор вмешалась сестра Гиацинта.

– Она исцелена от костоеды на левой пятке – болезни, длившейся три года. Нога опухла, потеряла форму, образовались фистулы, из них все время тек гной.

Все больные в вагоне пришли в возбуждение: они не спускали глаз с исцеленной – живого воплощения чуда. Те, кто мог стоять, вставали, чтобы лучше видеть Софи, калеки, лежавшие на матрацах, приподнимались. Для этих страдальцев, которым после Пуатье предстояло еще пятнадцать часов ужасного пути, появление избранного небом ребенка казалось божественным утешением, лучом надежды; они черпали в нем силу закончить мучительное путешествие. Стоны постепенно утихли, лица прояснились, всем пламенно хотелось верить.

Особенно оживилась Мари; приподнявшись, сложив дрожащие руки, она тихо упрашивала Пьера:

– Пожалуйста, скажите ей, чтобы она нам рассказала об этом... Боже мой, исцелилась! Исцелилась от такой страшной болезни!

Взволнованная г-жа де Жонкьер перегнулась через перегородку и поцеловала девочку.

– Ну, конечно, наш дружок все нам расскажет... Не правда ли, милочка, вы расскажете о том, что сделала для вас святая дева?

– Понятно, сударыня... Сколько угодно.

Девочка скромно улыбалась, глаза ее светились умом. Она хотела начать рассказ сейчас же и подняла правую руку, как бы призывая к вниманию. Очевидно, она уже привыкла выступать перед публикой. Но не всем в вагоне было ее видно, и сестра Гиацинта предложила:

– Встаньте на скамейку, Софи, и говорите громче, а то очень шумно.

Это рассмешило девочку, но, приняв снова серьезный вид, она начала:

– Так вот, нога у меня стала совсем плохая, я даже не могла ходить в церковь, и ногу надо было всегда обертывать тряпкой, потому что из нее текла какая-то гадость... Доктор Ривуар сделал надрез – он хотел посмотреть, что там такое, – и сказал, что придется удалить часть кости, но я стала бы хромать... Тогда, помолившись как следует святой деве, я окунула ногу в источник; мне так хотелось исцелиться, что я даже не успела снять тряпку... А когда я вынула ногу из источника, на ней уже ничего не было, все прошло.

Пронесся удивленный, восторженный шепот, чудесная сказка пробудила страстную надежду у всех этих обездоленных людей. Но девочка не кончила. После минутного молчания она развела руками и сказала в заключение:

– Когда господин Ривуар увидел в Вивонне мою ногу, он сказал: «Мне все равно, бог или дьявол вылечил эту девочку, – важно, что она выздоровела».

Тут все засмеялись. Софи столько раз повторяла свою историю, что знала ее наизусть. Остроумное замечание доктора всегда производило должное впечатление, она знала, что оно вызовет смех, и сама заранее смеялась. И какой у нее был при этом трогательно простодушный вид! Но она, очевидно, забыла одну подробность, потому что сестра Гиацинта, предупредив выразительным взглядом аудиторию, тихонько шепнула Софи:

– А что вы сказали графине, начальнице вашей палаты, Софи?

– Ах, да!.. Я взяла с собой слишком мало тряпок, чтобы обертывать ногу, вот я и сказала: «Пресвятая дева хорошо сделала, что исцелила меня в первый же день, а то у меня кончился бы весь мой запас».

Снова раздался смех. Девочка была так мила, и так чудесно было ее исцеление! Ей пришлось, по просьбе г-жи де Жонкьер, рассказать еще историю про башмаки, красивые новенькие башмаки, которые ей подарила графиня; девочка пришла в такой восторг, что принялась бегать, прыгать, танцевать в них. Подумать только! Ведь она три года не могла надеть даже домашних туфель, а тут стала ходить в башмаках!

Пьер задумался, побледнел; ему было как-то не по себе, он продолжал разглядывать девочку и немного спустя задал ей еще несколько вопросов. Она безусловно не лгала, но он подозревал некоторое искажение истины; от радости, что она выздоровела и стала значитель-

ной маленькой особой, Софи, очевидно, приукрасила правду, что было вполне понятно. Кто знает теперь, не потребовалось ли на самом деле много дней на это якобы мгновенное и полное зарубцевание? Где свидетели?

– Я была там, – рассказывала между тем г-жа де Жонкьер, – Софи находилась не в моей палате, но я видела ее в то самое утро: она хромала.

Пьер с живостью перебил ее:

– Ах, вы видели ее ногу до и после погружения в источник?

– Нет, нет, я не думаю, чтобы кто-нибудь видел ее ногу, так как она была в компрессах... Софи сама сказала, что тряпки упали в бассейн... – И, обращаясь к девочке, она добавила: – Да она покажет вам ногу... Не правда ли, Софи? Расшнуруйте башмак.

Девочка уже снимала башмак и чулок. Движения ее, быстрые и непринужденные, указывали на то, что это вошло у нее в привычку. Она вытянула чистую, беленькую, даже холеную ножку с розовыми, ровно подстриженными ногтями и принялась поворачивать ее, чтобы священнику удобнее было ее осмотреть. Над лодыжкой отчетливо виднелся длинный белый рубец, свидетельствовавший о том, что здесь была когда-то большая язва.

– Ну, господин аббат, возьмите пятаку, жмите ее изо всех сил, мне не больно!

У Пьера вырвался невольный жест, и можно было подумать, что могущество святой девы восхитило его. Но его мучило сомнение. Какая же действовала здесь неведомая сила? Вернее, какой неправильный диагноз врача, какое стечение ошибок и преувеличений привели к этой прекрасной сказке?

Всем больным захотелось посмотреть на чудесную ножку, на это очевидное доказательство божественного исцеления, к которому все они так стремились. Первой прикоснулась к ней Мари, – она уже меньше страдала, сидя в своем ящике. Затем г-жа Маэ, оторвавшись от тоскливых дум, посмотрела и уступила место г-же Венсен, а та готова была поцеловать эту ножку за надежду, которую она вселила в несчастную мать. Г-н Сабатье слушал девочку, разинув рот, г-жа Ветю, Гривотта, даже брат Изидор с любопытством открыли глаза, а лицо Элизы Руке приняло необыкновенное выражение, вера преобразила его, сделала почти красивым: исчезнувшая язва разве не была ее собственной язвой, затянувшейся, сглаженной? И лицо ее, на котором останется лишь небольшой шрам, не будет ли снова таким, как у всех?

Софи все еще стояла, держась за железную перекладину, подпиравшую полку, и без устали поворачивала ногу то вправо, то влево, счастливая и гордая от сознания, какой трепетный восторг, какое благоговейное почтение вызывала частица ее особы, эта маленькая ножка, ставшая как бы священной.

– Должно быть, нужно сильно верить и обладать большой духовной чистотой... – вслух подумала Мари. И, обращаясь к отцу, добавила: – Я чувствую, папа, что исцелилась бы, будь мне десять лет и имей я чистую душу ребенка.

– Да ведь тебе десять лет и есть, милочка! Не правда ли, Пьер, и у десятилетней девочки душа не может быть чище?

Господин де Герсен, увлекавшийся несбыточными мечтами, обожал истории о чудесах. А священник, глубоко взволнованный беспредельной чистотой девушки, не стал спорить и предоставил ее утешительной иллюзии, парившей над всеми.

После отъезда из Пуатье воздух отяжелел, медно-красное небо предвещало грозу, поезд, казалось, мчался сквозь раскаленную печь. Под палящим солнцем мелькали угрюмые, пустынные деревни. В Куз-Верак снова прочли молитву и пропели славословие святой деве. Однако религиозное рвение приутихло. Сестра Гиацинта, не успевшая позавтракать, решила наконец съесть маленький хлебец и фрукты, не отходя от больного, – его тяжелое дыхание стало ровнее. Только в три часа в Рюффеке прочли вечернюю молитву богородице.

Когда кончили молитву, г-н Сабатье, наблюдавший за Софи, пока та надевала чулок и башмак, обратился к г-ну де Герсену:

– Случай с этой девочкой, несомненно, представляет интерес, сударь. Но это еще ничего, бывают гораздо более примечательные... Вы знаете историю бельгийского рабочего Пьера Рюдера?

Все умолкли, прислушиваясь.

– Этот человек сломал ногу, упав с дерева. Восемь лет кости не срастались и торчали из раны, которая постоянно гноилась, нога безжизненно повисла, как обрубок... И вот! Стоило ему выпить стакан чудотворной воды, как рана сразу затянулась, он стал ходить без костылей, и врач сказал ему: «Нога у вас совсем здоровая, точно вы только что родились». И в самом деле нога словно и не болела.

Никто не произнес ни слова, только глаза горели восторгом и надеждой.

– Кстати, – продолжал г-н Сабатье. – Эта история напомнила мне случай с каменотесом Луи Бурьеттом, он был одним из первых, кто исцелился в Лурде. Вы не знаете?.. Его ранило при взрыве мины. Правый глаз он потерял безвозвратно, опасность угрожала и левому... И вот однажды он послал дочку набрать в источнике, который тогда еле сочился, грязной воды. Потом, горячо помолившись, он промыл глаз этой грязной водой и вдруг вскрикнул: он прозрел, он стал видеть так же хорошо, как мы с вами... Лечивший его врач написал об этом обстоятельстве статью, не вызывающую ни малейшего сомнения.

– Изумительно, – пробормотал восхищенный г-н де Герсен.

– Хотите еще пример, сударь? Это знаменитый случай с Франсуа Макари, слесарем из Лавора. Восемнадцать лет он страдал от глубокой гнойной язвы и закупорки вен на левой ноге. Он не мог двигаться, наука приговорила его всю жизнь быть калек... И вот, как-то вечером, он берет бутылку лурдской воды, снимает повязки, моет обе ноги, а остаток воды выпивает. Затем он ложится спать, засыпает и наутро смотрит, щупает – ничего! Все исчезло – и закупорка и язвы... Кожа на колене, сударь, стала гладкой и свежей, как у двадцатилетнего юноши.

Этот случай вызвал взрыв изумленного восхищения. Больные и паломники вступили в волшебную страну чудес, где на каждом повороте невозможное становится возможным, где спокойно шествуют от чуда к чуду. У каждого нашлось что рассказать, каждый горел желанием привести какое-то доказательство, подкрепить свою веру и надежду новым примером.

Молчаливая г-жа Маэ до того увлеклась, что заговорила первой.

– Моя приятельница была знакома с вдовой Ризан, чье исцеление наделало столько шума... Двадцать четыре года у нее была парализована вся левая сторона тела. Что бы она ни съела, ее начинало рвать, она превратилась в неподвижную колоду – даже повернуться на другой бок и то не могла; от долгого лежания у нее образовались пролежни... Как-то вечером врач сказал, что она не доживет до утра. Через два часа, очнувшись, она слабым голосом попросила дочь принести ей от соседки стакан лурдской воды. Но она получила воду лишь на следующее утро. И вдруг воскликнула: «Дочь моя, я пью жизнь, омой мне лицо, руку, ногу, все тело!» Дочь исполнила просьбу матери, и страшная опухоль стала опадать на глазах, парализованные рука и нога приобрели гибкость и свой естественный вид... Мало того, г-жа Ризан воскликнула, что исцелена и хочет есть, хочет хлеба и мяса, – ведь она не ела этого двадцать четыре года. Она встала, оделась, а дочь ее тем временем говорила соседкам, решившим по взволнованному лицу девушки, что она осиротела: «Да нет, нет! Мама не умерла, она воскресла!»

Слезы застилали глаза г-жи Венсен. Боже! Вот если б ее Роза также встала, с аппетитом поела, принялась бегать! Ей вспомнился случай с одной девочкой, о котором ей рассказывали в Париже, – рассказ этот немало способствовал ее решению отвезти свою маленькую больную в Лурд.

– Я тоже знаю случай с одной парализованной, Люси Дрюон; эта девочка жила в сиротском доме и не могла даже стать на колени. Ноги у нее свело, их скрючило колесом; правая нога была короче и обвилась вокруг левой, а когда кто-нибудь из подруг носил девочку на руках,

ноги у нее беспомощно болтались... Заметьте, она даже не ездила в Лурд; девять дней она постилась, и такое у нее было желание выздороветь, что она молилась ночи напролет. Наконец на девятый день она выпила немного лурдской воды и почувствовала сильную боль в ногах. Она встала, упала, снова встала – и пошла. Все ее подруги удивились, даже испугались и закричали: «Люси ходит! Люси ходит!» И в самом деле, ноги ее в несколько секунд распрямились, стали здоровыми и крепкими. Она прошла через двор, поднялась в часовню, и там все в порыве благодарности запели «Magnificat». Ах, счастливица, счастливица!

Две слезы скатились по щекам г-жи Венсен и упали на бледное лицо ее дочери; она иступленно поцеловала девочку.

Интерес к чудесным рассказам, в которых небо беспрестанно торжествовало над действительностью, все возрастал, они наполняли эти бесхитростные души восторженной радостью – даже самые больные, и те приподнимались и обретали дар речи. За рассказом каждого из них таилась тревога за свое здоровье, вера в исцеление, раз подобная болезнь может исчезнуть от божественного дуновения, как дурной сон.

– Ах, – простонала г-жа Ветю, с трудом преодолевая невыносимую боль, – была такая Антуанетта Тардивай; ее, как меня, мучил желудок, словно собаки грызли его, и порой он так вздувался, что становился величиной с детскую голову. Время от времени у нее появлялись опухоли с куриное яйцо, и ее восемь месяцев рвало кровью... Она погибала, от нее остались кожа да кости, она умирала от голода; выпив лурдской воды, она попросила, чтобы ей сделали этой водой промывание желудка. Через три минуты врач, оставивший ее накануне в агонии, почти бездыханной, увидел, как она встала, села у камина и с аппетитом ест мягкое куриное крылышко. Никаких опухолей у нее и в помине не было, она смеялась, как двадцатилетняя девушка, лицо у нее посвежело... Ах, есть все, что хочешь, снова стать молодой, не страдать!

– А исцеление сестры Жюльенны! – проговорила Гривотта... Глаза у нее лихорадочно блестели, она приподнялась, опершись на локоть. – Началось у нее с сильного насморка, как у меня; потом она стала харкать кровью. Через каждые полгода она сваливалась, и ей приходилось лежать в постели. В последний раз всем стало ясно, что она больше не встанет. Никакие лекарства не помогали – ни йод, ни мушки, ни прижигания. Словом, настоящая чахоточная, это признали шесть врачей. Ну и вот она поехала в Лурд. Уж как она мучилась! В Тулузе даже решили, что она кончается, и сестры несли ее на руках. Дамы-попечительницы не хотели купать ее в источнике – ну прямо покойница... И все же ее раздели, окунули, бесчувственную, всю потную, в бассейн, а когда вытащили, она была так бледна, что ее положили на землю, думали: ну, теперь уже конец. Вдруг щеки ее порозовели, глаза открылись, она глубоко вздохнула. Она исцелилась, сама оделась и отправилась в Грот поблагодарить святую деву, а после этого хорошо пообедала... Ну, что тут скажешь? Ведь чахоточная, а вылечилась, как рукой болезнь сняло!

Тогда встрепенулся и брат Изидор, но он не мог говорить и только с трудом сказал сестре:

– Марта, расскажи ту историю, что мы слышали от священника церкви Спасителя, про сестру Доротею.

– Сестра Доротея, – неумело начала рассказывать крестьянка, – встала как-то утром и почувствовала, что у нее онемела нога; с той минуты нога стала холодной и тяжелой, как камень; к тому же у нее заболела спина. Доктора ничего не могли понять. Несколько врачей смотрели ее, кололи булавками, жгли ей кожу всякими припарками, а все без толку... Сестра Доротея поняла, что только святая дева может ей помочь; и вот она поехала в Лурд и попросила окунуть ее в источник. Сперва она думала, что умрет, – так было холодно. Потом вода сделалась теплой, как парное молоко, и сестре Доротее стало очень приятно: точно тепло разлилось по всему телу, оно как будто вливалось в каждую жилку. Никогда она такого не чувствовала. Понятно, раз уж святая дева помогла, значит, жизнь вернулась к ней... Вся боль прошла, она

стала ходить, вечером съела целого голубя, ночь спала счастливым сном. Слава пресвятой деве! Вечная благодарность всемогущей матери и ее божественному сыну!

Элизе Руке тоже хотелось рассказать об известном ей чуде, но она так невнятно говорила, что никак не могла вступить в разговор. Однако, воспользовавшись минутным молчанием, девушка немного откинула платок, скрывавший ужасную язву.

– Ах, мне рассказывали занятный случай, только это не про болезнь... Одной женщине, Селестине Дюбуа, во время стирки в руку попала иголка. Семь лет ни один врач не мог ее вытащить. Между тем рука у нее согнулась, и разогнуть ее она никак не могла... Женщина поехала в Лурд, опустила руку в источник и тотчас же с криком выдернула ее. Руку насильно снова погрузили в воду, а женщина зарыдала, все лицо ее покрылось потом. Три раза ей опускали руку, и, как только она попадала в воду, иголка начинала двигаться; наконец она вышла из большого пальца... Конечно, женщина плакала, потому что иголка шла по телу, точно ее кто толкал... Селестина никогда больше не болела, а на руке остался рубец – это только для того, чтобы не забылось деяние святой девы.

Этот случай поразил всех еще больше, чем чудесные исцеления от тяжелых болезней. Иголка двигалась в теле, точно кто-то ее толкал! Незримое заселялось видениями, каждому больному чудился за спиной ангел-хранитель, готовый помочь ему по приказу свыше. Было нечто красивое и ребяческое в этом рассказе об иголке, семь лет не желавшей покидать тело несчастной женщины и вышедшей благодаря чудесному источнику! Раздались восклицания, всем стало весело, все смеялись в восторге от того, что для небесных сил нет ничего невозможного и если бог захочет, то все станут снова здоровыми, молодыми, полными сил! Чтобы устыдить природу, достаточно верить и горячо молиться, и тогда осуществляются самые невероятные мечты. Только бы повезло и выбор пал на тебя.

– О, как это прекрасно, отец! – прошептала Мари взволнованно, точно зачарованная, слушая эти рассказы. – Помнишь, ты говорил мне о бельгийке Иоахине Део, которая пересекла всю Францию, чтобы попасть в Лурд; у нее была язва на вывихнутой ноге, такая зловонная, что люди отшатывались от нее... Сперва пропала язва и девушка перестала чувствовать боль в колене, осталась только краснота... Потом вправился и вывих. Иоахина страшно кричала, когда ее погрузили в воду; казалось, ей ломают кости, отрывают ногу; в то же время и она сама и женщина, которая ее купала, видели, как увечная нога выпрямлялась в воде, словно стрелка, движущаяся по циферблату. Мускулы ноги вытягивались, колено становилось на свое место, но это сопровождалось такой сильной болью, что девушка потеряла сознание. А когда она пришла в себя, то бросилась в Грот, чтобы оставить там костыли.

Господин де Герсен, заразившись общим восторгом, от души смеялся, жестами подтверждая точность рассказа; он слышал его от одного из отцов общины Успения. Он мог бы привести двадцать случаев, еще более трогательных, один удивительнее другого. Он призывал в свидетели Пьера, а утративший веру священник только качал головой. Сначала, не желая огорчать Мари, он старался рассеяться, смотрел в окно на пробегавшие мимо поля, деревья, дома. Проехали Ангулем, равнины тянулись до самого горизонта, быстро, непрерывной чередой проносились мимо ряды тополей. По-видимому, поезд запаздывал: он мчался с грохотом на всех парах в раскаленной грозовой атмосфере, пожирая километры. И Пьер, захваченный удивительными историями, невольно вслушивался сквозь убаюкивающее громоханье колес в обрывки разговоров, и ему казалось, будто стремительно летевший вперед паровоз на самом деле уносил их всех в дивный край мечты. Поезд все мчался, Пьер перестал глядеть в окно, его вновь обдало тяжелым, усыпляющим воздухом вагона, в котором рос экстаз, такой далекий от действительности. Священника радовало оживившееся личико Мари, он протянул ей руку, и девушка пожала ее, вложив в пожатие вновь пробудившуюся надежду. Зачем же отнимать эту надежду, вызывать сомнение, раз он сам так жаждал выздоровления Мари? С бесконечной нежностью задержал он в своей руке маленькую влажную руку больной, взволнованный чув-

ствами, которые мог бы испытывать к ней страдающий брат; ему хотелось верить, что на свете существуют высшая доброта и сострадание, и они оберегают отчаявшихся.

– О Пьер, – повторила она, – как это прекрасно, как прекрасно! И какой гордостью наполнится мое сердце, если святая дева снизойдет ко мне! Скажите правду, считаете вы меня достойной?

– Конечно, – воскликнул он, – вы самая хорошая, самая чистая девушка в мире, ваша душа ничем не запятнана, как говорит ваш отец; в раю не хватит добрых ангелов, достойных сопровождать вам!

Но разговор на этом не кончился. Сестра Гиацинта и г-жа де Жонкьер стали рассказывать о всех известных им чудесах, о всех чудесах, которые в течение тридцати лет то и дело возникали в Лурде подобно розам, бесконечно расцветающим на мистическом розовом кусте. Их насчитывали тысячами, они с каждым годом становились все ярче и сыпались, как из рога изобилия. И больные, с лихорадочным волнением внимавшие этим повествованиям, напоминали маленьких детей, которые заслушались волшебной сказки и требуют сказок еще и еще. О! Побольше рассказов, осмеивающих злую действительность, посрамляющих несправедливую природу, побольше сказок, где боженька выступает великим целителем, издеваясь над наукой, и по своей прихоти раздает людям радости!

Глухонемые в этих рассказах начинали слышать и говорить: неизлечимо больная Аврелия Брюно, у которой была повреждена барабанная перепонка, вдруг услышала волшебные звуки фисгармонии; Луиза Пурше, за сорок пять лет не произнесшая ни слова, после молитвы у Грота вдруг воскликнула: «Благословенна ты, Мария!»; да и не только они, а сотни других совершенно исцелились от нескольких капель воды, влитых в уши или на язык. Потом пошли слепые: отец Эрман почувствовал, как нежная рука святой девы снимает покров, застилавший ему глаза; мадемуазель де Понбриан, которой грозила полная слепота, стала видеть лучше, чем когда-либо, от одной лишь молитвы; двенадцатилетняя девочка, чьи глаза были подобны мраморным шарам, в три секунды обрела такую ясность и глубину взгляда, словно в нем улыбались ангелы. Но особенно много было рассказов о паралитиках, несчастных, у которых отнялись ноги, убогих, прикованных к своим жалким койкам, которым бог сказал: «Встань и иди!» Делонуа, у которого был искривлен позвоночник, пятнадцать раз ложился в различные парижские больницы, и все врачи сходились в диагнозе; ему делали прижигания, подвешивали – все безрезультатно, а когда мимо него прошел крестный ход со святыми дарами, он вдруг ощутил необычайную силу и, исцеленный, последовал за ним. Мария-Луиза Дельпон, четырнадцатилетняя девочка, у которой параличом свело ноги, руки и скривило рот, вдруг почувствовала, что тело ее стало гибким, будто невидимая рука перерезала сковывавшие его ужасные путы. Мария Вашье, разбитая параличом и в течение семнадцати лет пригвожденная к креслу, не только побежала, выйдя из бассейна, но даже не могла найти следов от пролежней, образовавшихся на теле после долгого лежания. А Жорж Анке, страдавший размягчением спинного мозга и потерявший чувствительность, сразу перешел от агонии к полному выздоровлению. Пораженная тем же недугом Леония Шартон почувствовала, как горб ее стал исчезать словно по волшебству, а ноги выпрямляться – здоровые, сильные ноги.

Затем речь зашла о самых разнообразных болезнях. Снова язвы, снова скрюченные и исцеленные ноги: Маргарита Гейе двадцать семь лет страдала от боли в бедре, правое колено у нее не сгибалось – и вдруг она упала на колени, благодаря святую деву за исцеление; у молодой вандейки, Филомены Симоно, были на левой ноге три страшные язвы, из которых торчали раздробленные кости, – и вот язвы затянулись, больная исцелилась. Потом пошли рассказы о людях, страдавших водянкой: у г-жи Анселин внезапно опала опухоль – каким образом вытекла и куда девалась вода, наполнявшая ее руки, ноги, все тело, – неизвестно; у мадемуазель Монтаньон в несколько приемов выкачали двадцать два литра воды, но больная снова отекала; и вот, после того как ей сделали примочку из воды чудодейственного источника, оте-

ность исчезла, причем ни в постели, ни на полу не осталось никаких следов вытекшей из нее жидкости. Даже всевозможные желудочные заболевания, и те проходят после первого же стакана лурдской воды. Худая, как скелет, Мари Суше, которую рвало черной кровью, начала есть за двоих и поправилась в два дня. Мари Жарлан выпила по ошибке стакан медного купороса и сожгла себе желудок; появившаяся вследствие этого опухоль рассосалась от лурдской воды. Впрочем, самые большие опухоли проходили бесследно, после того как больной погружался в бассейн. Но еще более поразительными казались исцеления от рака, от страшных наружных язв. У одного актера, еврея, была ужасная язва на руке, он опустил ее в чудодейственный источник, и она зажила. У богача иностранца на правой ладони выросла шишка величиной с куриное яйцо – она рассосалась. У Розы Дюваль была опухоль на левом локте, потом она исчезла, и на месте ее образовалась дырка, в которой мог уместиться орех, – на глазах Розы дырка затянулась. У вдовы Фромон рак разъел губу, она только приложила примочку, и от рака не осталось и следа. Мария Моро очень страдала от рака груди; она заснула, приложив к груди тряпку, смоченную лурдской водой, а когда через два часа проснулась – боль прошла, тело стало белое, как роза.

Наконец сестра Гиацинта рассказала о мгновенных и полных исцелениях от чахотки, этого страшного бича человечества. Сомневающиеся не верили, что святая дева может исцелить от этой болезни; однако, говорят, она вылечивала людей одним мановением руки. Приводились сотни случаев, один необыкновеннее другого. Маргарита Купель страдала чахоткой три года, верхушки ее легких были разрушены туберкулезом, и вот она встала и пошла, вся пышущая здоровьем. Г-жа де ла Ривьер харкала кровью, ногти у нее посинели, она покрылась холодным потом и была при последнем издыхании; но достаточно было влить ей сквозь стиснутые зубы ложечку лурдской воды, как хрипение прекратилось, она села, стала отвечать на вопросы, попросила бульону. Жюли Жадо понадобилось четыре ложечки; правда, у нее от слабости уже не держалась голова, она была такого нежного сложения, что болезнь совсем надломилась ее силы, а через несколько дней она располнела до неузнаваемости. У Анны Катри чахотка была в последней стадии, в левом легком образовалась каверна, и оно было наполовину разрушено – и вот вопреки всякой осторожности ее пять раз погрузили в холодную воду, и она поправилась, легкое восстановилось. Другая чахоточная, молоденькая девушка, приговоренная к смерти пятнадцатью врачами, даже не просила об исцелении, она просто преклонила колена, проходя мимо Грота, и, к удивлению своему, выздоровела; случайно она, как видно, оказалась там в ту минуту, когда святая дева, сжалившись, дарует чудо из своих незримых рук.

Чудеса, бесконечные чудеса! Они сыпались дождем, словно цветы грез со светлого, ласкового неба. Были чудеса трогательные, были и наивные. Старуха, у которой тридцать лет не сгибалась рука, умылась водой из источника, и вот она может уже креститься этой рукой. Сестра София лаяла, как собака, а тут, после погружения в воду, голос ее стал чист и звонок: она даже пела псалом, выходя из источника. Турок Мустафа помолился Белой даме и приложил к правому глазу компресс, и к нему вернулось зрение. Офицеру из алжирских стрелков святая дева помогла в Седане, а кирасир из Рейнсгофена погиб бы от пули в сердце, если бы, пробив бумажник, она не отскочила от образа, лурдской богоматери. Снисходила благодать и на детей, этих бедных страждущих малюток: пятилетнего парализованного малыша пять минут подержали под ледяной струей источника, и он пошел; другой, пятнадцати лет, который лежал, не вставая, и только рычал, точно зверь, выскочил из бассейна с криком, что он исцелился; еще один, двухлетний ребенок, не умел ходить – после пятнадцатиминутного пребывания в холодной воде он ожил, улыбнулся и впервые пошел. Но все, большие и малые, испытывали острую боль, пока происходило чудо исцеления, потому что восстановление здоровья вызывает необычайную встряску всего организма: кости срастаются и выпрямляются, ткани обновляются, болезнь изгоняется из тела вместе с последним конвульсивным движением мышц. Но какое блаженное состояние потом! Врачи не верили своим глазам, каждое выздоровление

сопровождалось новым взрывом удивления, когда исцеленные больные начинали бегать, прыгать, есть с волчьим аппетитом. Все эти избранные, все эти исцеленные женщины способны были пройти по три километра, ели цыплят, спали без просыпу по двенадцать часов кряду. К тому же все происходило с молниеносной быстротой, внезапным скачком – от агонии к полному выздоровлению, восстановлению пораженных органов, затягиванию язв, прибавлению в весе. Наука была посрамлена, и потому в источник погружали всех без разбора, не принимая даже элементарных мер предосторожности; в ледяную воду окунали женщин, невзирая на их состояние, и вспотевших чахоточных, и больных с открытыми язвами, и при этом не применялось никаких антисептических средств. А какая радость, сколько благодарности и любви при каждом чуде! Исцеленная падает на колени, все плачут, неверующие обращаются, евреи и протестанты переходят в католичество – каких только чудес не делает вера! Жители деревни толпой встречают исцеленную под колокольный звон, и, когда она быстро выходит из экипажа, раздаются крики, рыдания, все хором славят пресвятую деву! Воздают вечную благодарность матери божьей!

За все эти осуществленные надежды, за эти пламенно испрошенные милости неслась благодарность пресвятой деве. Ее страстно обожали, она была всемогущей, всемилостивой матерью, зеркалом справедливости, престолом премудрости. К ней, мистической розе, башне из слоновой кости, двери рая, открывающейся в бесконечность, простирались все руки. Каждый день, на заре, она сияла яркой утренней звездой, она была веселой, юной надеждой и в то же время – здоровьем калек, прибежищем грешников, утешением страждущих. Франция всегда была дорога ее сердцу; здесь ей поклонялись, здесь существовал ее культ, культ женщины и матери, и именно во Франции она являлась молодым пастушкам. Она была так добра к маленьким людям! Она неизменно пеклась о них! Всего охотней обращались именно к ней, потому что знали: она посредница, исполненная любви, между землей и небом. Каждый вечер проливалась она золотые слезы у ног своего божественного сына, чтобы обрести его милость, и он разрешал ей творить чудеса – цветущее поле чудес, благоухающих, как райские розы.

Поезд все мчался и мчался. Было шесть часов, проехали Кутра. Сестра Гиацинта поднялась, хлопнула в ладоши и снова повторила:

– Помолимся, дети мои!

Никогда еще молитвы святой деве не возносились с таким пылом, с такой верой, что они будут услышаны на небесах. И Пьер сразу понял, в чем суть этих паломничеств, этих поездов, мчавшихся по всему свету, этих толп, стекающихся к Лурду, сияющему вдали, носителю телесного и духовного спасения. С самого утра перед ним были эти несчастные люди, стонавшие от боли, подвергавшие свое брэнное тело утомительному путешествию, обреченные на смерть и покинутые наукой; как они устали от осмотров врачей, как измучены бесполезными лекарствами! И как понятны были их жажда жизни, желание осилить несправедливую, равнодушную природу, их мечты о сверхчеловеческом могуществе, о мощной силе, которая ради них может перевернуть законы природы, изменить движение светил! Неужели им не суждено обрести опору в боге, коль скоро почва ускользает у них из-под ног? Действительность была так отвратительна, что у этих страждущих людей рождалась настоящая потребность в иллюзии и самообмане. О! Верить в существование высшего судьи, исправляющего явное зло, всемогущего искупителя и утешителя, во власти которого приказать рекам течь вспять, возвратить старикам молодость, воскресить мертвых. А как дорога одна возможность сказать тебе, что хоть ты и покрыт язвами, хоть у тебя и скрючены руки и ноги, живот вздут от опухлей, разрушены легкие, – все это исчезнет, стоит лишь умолить и растрогать святую деву, оказаться избранным ею для сотворения чуда! И когда обильным потоком полились рассказы о чудесных исцелениях, волшебные сказки, баюкавшие и опьянявшие возбужденное воображение больных и калек, в них пробудилась страстная надежда! С тех пор, как исцеленная Софи Куто вошла в вагон, открыв глазам паломников и больных безбрежный горизонт чудесного,

сверхъестественного, у всех, словно порыв ветра, пронеслась мысль о внезапном выздоровлении, и вот самые безнадежные поднялись на своих жалких ложах, лица у всех прояснились – ведь жизнь еще возможна и для них, и они начнут ее сначала!

Да, это так! Если скорбный поезд с переполненными вагонами все мчался и мчался вперед, если Францию и весь мир бороздили такие же поезда, шедшие из самых отдаленных уголков земли, если трехсоттысячные толпы верующих, а с ними тысячи больных, пускались в путь во все времена года, то это потому, что там, вдали, пылает осиянный славою Грот, как маяк надежды и иллюзии, как протест, как торжество невозможного над неумолимой материей. Ни один роман, даже самый увлекательный, не мог бы вызвать такой восторженности, так вознести душу над грубой действительностью. Лелеять эту мечту – вот в чем невыразимое счастье. Из года в год отцы общины Успения видели, как процветает паломничество, и объяснялось это их умением продать людям утешение, обман и надежду – дивную пищу, которой так жаждет страждущее человечество. И не только физическое страдание искало исцеления, душа и разум взывали о том же, ненасытно стремясь к счастью. Всеми владело одно желание – добиться счастья: порукой жизни была вера, каждому хотелось до самой смерти опираться на этот посох, каждый преклонял колена с мольбою об исцелении от нравственных мук, о даровании милости любимым, близким. И этот крик души о счастье и в этой жизни и по ту сторону гроба возносился, заполнял пространство.

Пьер заметил, что окружавшие его больные словно перестали ощущать толчки поезда, силы возвращались к ним с каждым лье, приближавшим их к чуду. Г-жа Маэ разговаривала в полной уверенности, что святая дева вернет ей мужа. Г-жа Венсен, улыбаясь, укачивала Розу, считая, что ее дочь гораздо здоровее тех полумертвых детей, которые после погружения в ледяную воду начинали играть. Г-н Сабатье шутил с г-ном де Герсеном, говорил ему, что в октябре, после выздоровления, съездит в Рим, куда он собирается уже пятнадцать лет. Г-жа Ветю, успокоившись и чувствуя только легкую боль в животе, убедила себя, что она голодна, и попросила г-жу де Жонкьер дать ей бисквитов, размоченных в молоке. Элиза Руке, забыв про свою язву, с открытым лицом ела виноград, а Гривотта и брат Изидор, переставший стонать, были в таком лихорадочном волнении, что уже считали часы, оставшиеся до чудесного исцеления. Даже умирающий воскрес на минуту. Когда сестра Гиацинта снова подошла к нему, чтобы вытереть холодный пот, обильно проступивший на его лице, он открыл глаза и улыбнулся: он вновь стал надеяться.

Мари продолжала держать руку Пьера в своей теплой руке. Было семь часов, в Бордо они придут в половине восьмого; поезд запаздывал и, чтобы нагнать потерянное время, мчался с бешеной скоростью. Гроза прошла, небо прояснилось, воздух стал необыкновенно мягким.

– Ах, Пьер, как это прекрасно, как прекрасно! – вновь повторила Мари, нежно сжимая руку священника.

И, нагнувшись к нему, шепнула:

– Пьер, мне только что явилась святая дева, я просила ее о вашем исцелении, и вы его получите.

Священник понял; он был потрясен дивным светом, который излучали устремленные на него глаза Мари. Она молила самозабвенно о его обращении, и это пожелание, исходившее от страждущего, дорогого ему существа, потрясло его душу. А может быть, он и станет когда-нибудь верующим? Пьер даже растерялся от этого множества необыкновенных рассказов. Удушливая жара в вагоне вызвала у него головокружение, отзывчивое сердце обливалось кровью при виде всех этих собранных здесь страданий. Священник поддался общему настроению, не отдавая себе отчета, где граница между реальным и возможным, не в силах разобраться, что в этом нагромождении необычайных фактов можно отбросить и что принять. Затянули новую молитву, и на минуту Пьер забылся, вообразил, что он верующий, поддался

гипнозу галлюцинации, охватившей этот передвижной госпиталь, мчавшийся на всех парах вперед и вперед.

Глава V

Поезд вышел из Бордо после небольшой остановки, в течение которой те, кто еще не обедал, поспешили запастись провизией. Впрочем, больные все время пили молоко и, как дети, требовали печенья. Лишь только поезд тронулся, сестра Гиацинта захлопала в ладоши:

– Ну-ка, поторопитесь, вечернюю молитву!

Целых четверть часа слышалось невнятное бормотание – читали «Отче наш», молитвы богородице, каждый проверял свою совесть и каялся в грехах, посвящая себя богу, святой деве, всем святым, благодарил за счастливо проведенный день и заканчивал молитвами за здоровье и за упокой.

– Во имя отца и сына и святого духа. Аминь!..

Было десять минут девятого, сумерки окутывали огромную равнину, тонувшую в вечернем тумане, а вдаль, в разбросанных кое-где домах, зажигались огоньки. Лампы в вагоне мигали, освещая желтым светом раскачивающийся багаж и паломников.

– Знаете, дети мои, – проговорила сестра Гиацинта, – когда мы приедем в Ламот, – это будет приблизительно через часок, – я потребую, чтобы в вагоне была полная тишина. Пока можете целый час развлекаться, но будьте умниками, чересчур не возбуждайтесь. А после Ламота, слышите, ни слова, ни звука, надо спать!

Все засмеялись.

– Такое уж у нас правило, вы достаточно благоразумны и не станете его нарушать.

Действительно, с утра паломники добросовестно читали положенные молитвы. Теперь, когда все молитвы были прочтены, все гимны пропеты, день можно было считать законченным и немного отдохнуть перед сном. Но никто не знал, чем заняться.

– Сестра, – предложила Мари, – разрешите господину аббату прочесть нам вслух? Он прекрасно читает, а у меня как раз есть очень хорошая книжечка – история Бернадетты...

Ей даже не дали договорить – все с увлечением закричали, как дети, которым обещают интересную сказку:

– Разрешите, сестрица, разрешите!..

– Ну, конечно, раз речь идет о хорошей книжке, – проговорила монахиня.

Пьеру пришлось согласиться. Но ему захотелось сесть поближе к лампе, и он поменялся местом с г-ном де Герсеном, который не меньше больных радовался предстоящему чтению. И когда молодой священник, удобно расположившись под лампой, открыл книгу, любопытство овладело всеми, головы вытянулись, уши наострились. К счастью, у Пьера был звонкий голос, он перекрыл шум колес, глухо громылавших среди плоской, огромной равнины.

Но прежде чем начать чтение, Пьер решил наспех перелистать книжку. Это была одна из тех маленьких книжонок, издаваемых католической прессой, которые продаются вразнос и наводняют собою христианский мир. Она была плохо отпечатана, на дешевой бумаге, а на синей обложке было нарисовано наивное изображение лурдской богоматери, неумелое и нескладное. Книжку, несомненно, можно было прочесть в полчаса.

И Пьер начал читать своим мягким, проникновенным голосом, отчетливо произнося каждое слово:

– «Это случилось в маленьком пиренейском городе Лурде в четверг, одиннадцатого февраля тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года. Стояла холодная, немного пасмурная погода. В доме бедного, честного мельника Франсуа Субиру не было дров, чтобы приготовить обед. Жена мельника, Луиза, сказала своей младшей дочери Мари: “Пойди набери валежника на берегу Гава или в общинном лесу”. Гав – это речка, протекающая через Лурд.

У Мари была старшая сестра по имени Бернадетта, недавно вернувшаяся из деревни, где она занималась пастушкой. Это была хрупкая и слабенькая девочка, очень простодушная и

неискушенная. Все знания ее ограничивались чтением молитвенника. Луиза Субиру не решалась послать ее в лес с сестрой из-за холода; однако Мари и маленькая соседка, Жанна Абади, так настаивали, что мать отпустила девочку.

Три подруги пошли вдоль речки, чтобы набрать там валежника, и очутились перед гротом, образовавшимся в большой скале, которую местные жители называли Масабиель...»

Дойдя до этого места, Пьер остановился и опустил книжку. Его раздражали наивность рассказа, бессодержательные, пустые фразы. В свое время он держал в руках подробное описание этой необычайной истории, взволнованно изучал малейшие ее подробности и глубоко в сердце сохранил нежность и жалость к Бернадетте. Он решил, что на следующий же день начнет расследование этого дела, он так мечтал об этом когда-то. Это была одна из причин, побудивших его предпринять путешествие. Любопытство Пьера было возбуждено, ему была глубоко симпатична ясновидящая, он догадывался, что она кротка, правдива и несчастна, но ему хотелось проанализировать и проверить все обстоятельства. Несомненно, Бернадетта не лгала, ее посещали видения, как Жанну д'Арк, она слышала голоса и так же, как Жанна д'Арк, по словам католиков, являлась спасительницей Франции. Какая же сила двигала ею? Как могло возникнуть у этой жалкой девочки видение, которое произвело переворот в душах верующих, вызвав к жизни чудеса первобытных времен, создав чуть ли не новую веру в городе, ставшем святым, – городе, на постройку которого ушли миллионы, куда стекались многочисленные и восторженные толпы, каких мир не видел со времени крестовых походов?

И, прекратив чтение, Пьер стал рассказывать все, что знал, что угадал и восстановил в этой истории, так и не выясненной, несмотря на потоки вылитых ради нее чернил. Долгие беседы Пьера с доктором Шассенем познакомили священника с этим краем, его нравами и обычаями. Пьер уже в семинарии обладал свободой изложения, страстностью, ораторским даром, но ни разу не пользовался им. Когда в вагоне увидели, что он знает историю Бернадетты гораздо лучше, чем она описана в книге, и рассказывает ее так любовно и взволнованно, внимание удвоилось; несчастные, жаждавшие счастья люди в едином порыве поддались обаянию рассказчика.

Священник начал с детства Бернадетты в Бартресе. Она росла у своей кормилицы, некоей Лагю, которая после смерти своего грудного ребенка взяла на воспитание дочь четы Субиру и оказала тем самым услугу очень бедной семье. Деревня в четыре сотни душ, на расстоянии лье от Лурда, стояла как в пустыне, далеко от проезжей дороги, вся скрытая в зелени. Дорога спускается под гору; несколько домов, разбросанных среди пастбища, отделены друг от друга живыми изгородями да аллеями из орешников и каштанов; с окрестных гор, по оврагам, стекают светлые, журчащие ручейки, и над всем господствует на пригорке романская церковка, окруженная могилами сельского кладбища. Со всех сторон вздымаются лесистые холмы; деревня утопает в зелени изумительной свежести, высокую ярко-зеленую траву питают подземные воды, необъятные водные пространства, образовавшиеся от ручейков, сбегających с гор. Бернадетта, как только выросла, в уплату за свое содержание стала пасти овец и по целым месяцам бродила со своим стадом в этих зарослях, не встречая ни души. Лишь иногда с вершины холма она видела далекие горы, Южный пик или Виско, то ослепительно сверкающие, то темные и мрачные, в зависимости от погоды, а за ними другие, терявшиеся в отдалении горы – словно неясные видения, какие посещают нас во сне. Затем священник описал дом Лагю, где и сейчас еще стоит колыбелька Бернадетты, – одинокий дом у околицы. Перед домом был небольшой луг с грушами и яблонями; его отделял от полей ручеек – такой узкий, что через него можно было перешагнуть. В низеньком строении, справа и слева от деревянной лестницы, которая вела на чердак, было по большой комнате с каменным полом и с четырьмя – пятью кроватями в каждой. Девочки спали вместе и, засыпая, глядели на красивые картинки – ими была оклеена вся стена, а большие часы в футляре из елового дерева важно отбивали в тишине время.

Эти годы в Бартресе Бернадетта прожила в чарующей атмосфере ласки и любви. Она росла хилым ребенком, всегда болела, задыхаясь от астмы, приступы которой возникали от малейшего ветерка; в двенадцать лет она не умела ни читать, ни писать, говорила только на местном наречии, была ребячлива и отставала как в умственном, так и в физическом развитии. Она была доброй маленькой девочкой, кроткой, покорной – в общем, такой, как все дети, не болтливой, склонной больше слушать, чем говорить. Будучи совершенно неграмотной, она обнаруживала, однако, природный ум, а иногда отвечала на вопросы так остроумно, что даже вызывала смех. С большим трудом ее научили читать молитвенник. Выучившись, она решила закончить на этом свое образование и, пася своих овец, с утра до вечера читала молитвы, перебирая четки. Сколько часов провела она на заросших травой холмах, затерявшись в зелени таинственной листвы, не видя ни души и глядя лишь на вершины отдаленных гор, тающих в солнечном свете, легких, как сон! Дни шли за днями, девочка блуждала в одиночестве, повторяя все ту же молитву, непрестанно взывая к единственному своему другу – святой деве. Так проходило время в нехитрых грезах наивного детства. А сколько чудесных зимних вечеров провела она у очага!

У кормилицы Бернадетты был брат священник; он иногда читал вслух благочестивые истории, необычайные приключения, бросавшие в дрожь и вызывавшие радость; в них говорилось о видениях земного рая, небо разверзалось, и перед взором вставало все великолепие ангелов. В книжках, которые приносил священник, было много картинок, изображавших господа бога во всем его величии, красивого, нежного Иисуса, с нимбом вокруг чела, и главным образом – святую деву, блистательную в белых, лазурных и золотых одеждах, такую милую, что образ ее даже снился девочке. Но чаще всего они читали библию, старую, пожелтевшую от времени, столетнюю реликвию семьи. Каждый вечер муж кормилицы, единственный, кто знал грамоту, брал булавку, наугад втыкал ее в книгу и начинал чтение сверху, с правой страницы; внимательно слушавшие его женщины и дети знали уже все наизусть и могли бы продолжать, не ошибившись ни словом.

Бернадетта предпочитала книги о божественном, повествующие о святой деве с кроткой улыбкой. Но девочке нравилась также чудесная «История о четырех сыновьях Эмона». На желтой обложке маленькой книжечки, случайно занесенной в эти края бродячим книгоношей, была нарисована наивная картинка, изображавшая четырех героев – Рено и его братьев, взбравшихся вчетвером на своего знаменитого боевого коня Баярда, которого подарила им царственная фея Орланда. В книжке рассказывалось о кровавых битвах, возведении и осаде крепостей, страшных поединках между Роландом и Рено, которому предстояло освободить святую землю, о волшебнике Можи и его чарах и о прекрасной, как ясный день, принцессе Клариссе, сестре короля аквитанского. Бернадетта иногда с трудом засыпала, настолько возбуждено было ее воображение, особенно в те вечера, когда, отложив в сторону книгу, кто-нибудь из собравшихся рассказывал про колдунов. Девочка была очень суеверной, ее нельзя было заставить пройти вечером мимо соседней башни, где, по слухам, водился дьявол. Впрочем, весь этот край, с его набожными и неискушенными жителями, был как бы овеян таинственностью: деревья пели, из камней сочились капли крови, на перекрестках надо было три раза прочесть «Отче наш» и три раза молитву богородице, чтобы не встретить семирогого зверя, который утаскивал девушек на погибель. А какое богатство страшных сказок! Их были сотни, в один вечер и не перескажешь. Прежде всего это были сказки об оборотнях – несчастных людях, которых дьявол превращал в больших белых или черных собак: если стреляешь в такую собаку из ружья и хоть одна пуля попадет в нее – человек освобожден, если же пуля попадет в ее тень – человек тотчас же умирает. Затем шли бесконечные рассказы о колдунах и колдуньях. Одна из этих историй особенно увлекала Бернадетту. В ней шла речь о лурдском писаре; он захотел увидеть черта, и колдунья повела его в святую пятницу на какой-то пустырь. Черт явился разодетый во все красное и сейчас же предложил писарю купить его душу; тот сделал вид, будто согла-

шается. Под мышкой черт держал свиток со списком горожан, уже продавших ему душу. Но хитрый писарь вытащил из кармана бутылку якобы с чернилами, на самом же деле со святой водой, и окропил черта; тот стал ужасно кричать; тем временем писарь выхватил у черта свиток и пустился наутек. Тогда черт погнался за писарем, и началась бешеная скачка по горам и долам, по лесам и рекам, о которой можно было рассказывать целый вечер. «Отдай свиток!» – «Не отдам!» И снова начиналось: «Отдай свиток!» – «Не отдам!» Наконец писарь, выбившись из сил, задыхаясь, прибежал на кладбище, на освященную землю, и здесь стал издеваться над чертом, размахивая свитком; так он спас души несчастных, которые расписались на свитке. В такие вечера Бернадетта перед сном читала мысленно молитвы, радуясь, что силы ада посрамлены, но все же дрожала от страха, как бы черт не явился к ней, когда потушат лампу.

Одну зиму, с разрешения кюре Адера, чтения происходили в церкви, и много семей приходило сюда, чтобы не жечь дома зря свет, не говоря уже о том, что здесь, всем вместе, было теплее. Читали библию, молитвы. Дети засыпали. Одна Бернадетта боролась со сном, радуясь, что она у господина бога, в этом тесном храме со сводом, выкрашенным в красный и синий цвета. В глубине находился раззолоченный алтарь, аляповато раскрашенный, с витыми колоннами, с запрестольным образом святой девы, посещающей святую Анну, и образом, где было изображено усекновение главы Иоанна Крестителя. С этих ярко расцвеченных картинок на дремавшую девочку нисходили мистические видения, из ран сочились кровь, над святой девой пылал нимб, она смотрела на ребенка своими небесно-голубыми глазами, и Бернадетте в полусне казалось, что дева сейчас откроет свои алые уста и заговорит с нею. Месяцами девочка проводила так вечера, сидя в полудреме напротив пышного алтаря и видя наяву удивительные сны, продолжавшиеся и после того, как она ложилась в постель и тихо засыпала под защитой своего ангела-хранителя.

В этой же старой, скромной церкви, овеванной горячей верой, Бернадетта стала изучать катехизис. Девочке должно было минуть четырнадцать лет, самое время для первого причастия. Ее кормилица-мать, слывшая женщиной скупой, не отдавала девочку в школу, заставляя ее работать в доме с утра до вечера. Учитель, г-н Барбе, никогда не видел ее в классе. Но однажды, заменяя заболевшего аббата Адера на уроке катехизиса, он обратил внимание на скромную, набожную девочку. Священник очень любил Бернадетту; он часто рассказывал о ней учителю и говорил, что она напоминает ему детей из Салетты; они, по-видимому, были так же бесхитростны, добры и благочестивы, и им тоже явилась святая дева. В другой раз учитель и священник, выйдя из деревни, увидели вдали Бернадетту, пасшую свое маленькое стадо в древесной чаще; священник несколько раз оборачивался и смотрел на нее, повторяя: «Не знаю, что со мной, но всякий раз, как я встречаю эту девочку, мне кажется, что я вижу Мелани, маленькую пастушку, приятельницу Максимена». Его явно преследовала эта странная мысль, и она оказалась пророческой. Однажды, то ли после урока катехизиса, то ли вечером в церкви, он рассказал чудесную сказку о том, что случилось двенадцать лет назад, о святой деве в ослепительном одеянии, которая шла по траве, не сгибавшейся под ее стопами; она явилась Мелани и Максиму на горе у ручья и сообщила им величайшую тайну, объявив о гневе своего сына. С той поры источник, возникший из слез богородицы, стал исцелять от всех болезней, а тайна, на пергаменте за тремя печатями, хранится в Риме. Бернадетта, как всегда молчаливая, видевшая сны наяву, жадно слушала эту прелестную сказку и, очевидно, унесла ее с собой в пустынную зеленую чащу, где она проводила целые дни; там, пася своих овечек, она вспоминала все это, перебирая тонкими пальцами четки.

Так протекало детство Бернадетты в Бартресе. Самым привлекательным в этой хилой и бедной девочке были ее восторженные глаза, прекрасные глаза ясновидящей – грезы реяли в них, точно птицы в чистом небе. Большой рот и несколько полные губы указывали на доброту, крупная голова с прямым лбом и густыми черными волосами показалась бы очень обыденной, если бы не присущее ей очарование кроткого упорства. Но тот, кому не бросался в глаза взгляд

Бернадетты, не замечал ее: она была самой заурядной девочкой, бедной, боязливой и робкой. Аббат Адер, несомненно, прочел в ее взгляде все, что расцвело в ней впоследствии. Он с волнением следил за развитием болезни, от которой задыхался несчастный ребенок, видел бесконечные зеленые просторы, среди которых она выросла, слышал ласковое блеяние ее овечек; он догадался по ее взгляду, какую чистую мольбу возносила она столько раз к небесам, еще до того как у нее появились галлюцинации; в ее зоре запечатлелись чудесные истории, слышанные ею в доме кормилицы, вечера, проведенные в церкви перед оживавшими в ее воображении иконами; атмосфера детской веры окружала ее в этом далеком, огражденном горами краю.

Седьмого января Бернадетте исполнилось четырнадцать лет, и ее родители Субиру, видя, что она ничему не научится в Бартресе, окончательно решили взять ее домой, в Лурд, чтобы она прошла катехизис и серьезно подготовилась к причастию. И вот недели через две – три после того, как она вернулась в Лурд, в холодный, пасмурный день, одиннадцатого февраля, в четверг...

Пьер должен был прервать рассказ, так как сестра Гиацинта поднялась и захлопала в ладоши.

– Десятый час, дети мои... Пора на покой!

Поезд уже миновал Ламот и катился с глухим стуком в полной темноте по бесконечным равнинам Ландов. Еще десять минут назад в вагоне должна была наступить тишина: надо было спать или страдать молча. Между тем слышались протесты.

– Ах, сестра! – воскликнула Мари, глаза ее ярко блеснули. – Еще хоть четверть часика! Сейчас самое интересное место.

Раздалось десять, двадцать голосов.

– Да, пожалуйста! Хоть четверть часика!

Всем хотелось послушать продолжение рассказа, у всех разгорелось такое любопытство, как будто они не знали истории Бернадетты; все были захвачены трогательной, мягкой манерой повествования, наделявшего ясновидящую чисто человеческими чертами. Паломники не спускали глаз с рассказчика, все головы, причудливо освещенные коптящими лампами, повернулись к Пьеру. И не только больные были увлечены рассказом священника, но и десять паломниц, сидевших в отдельном купе, обратили к нему свои некрасивые лица, похорошевшие от наивной веры, от радости, что они не пропустили ни одного слова.

– Нет, не могу! – объявила сестра Гиацинта. – Нельзя нарушать порядок, надо спать.

Однако она готова была уступить, сама глубоко заинтересованная рассказом; у нее даже сердце забилося учащенно. Мари настаивала, умоляла, а ее отец, г-н де Герсен, с удовольствием слушавший Пьера, объявил, что все заболело, если не узнают продолжения; г-жа де Жонкьер снисходительно улыбнулась, и сестра в конце концов уступила.

– Ну, хорошо! Еще четверть часа, но не больше, иначе мне попадет.

Пьер спокойно ждал, не вмешиваясь в переговоры. И, получив разрешение сестры, он продолжал тем же проникновенным голосом: жалость к несчастным страдальцам, жившим только надеждой, заставляла священника забыть о своих сомнениях.

Теперь действие рассказа перенеслось в Лурд, на улицу Пти-Фоссе, хмурую, узкую и кривую; по обеим сторонам ее тянутся бедные дома, грубо обмазанные стены. В нижнем этаже одного из этих печальных жилищ, в конце темного коридора, Субиру занимали одну комнату; в ней ютилась семья в семь человек: отец, мать и пятеро детей. Слабый зеленоватый свет скупо проникал в маленький сырой внутренний дворик, и в комнате царил полумрак. Там спала, сгрудившись, вся семья, там ели, когда в доме был хлеб. Последнее время отец, мельник по профессии, с трудом находил работу. Из этой-то темной и бедной дыры в холодный февральский день – это был четверг – старшая дочь Бернадетта с сестрой Мари и маленькой соседкой Жанной отправились за валежником.

Долго длилась прекрасная сказка: как три девочки спустились на берег Гава по другую сторону замка, как оказались на острове Шале, напротив скалы Масабиель, от которой его отделял узкий мельничный ручей. Это было уединенное место, куда деревенский пастух часто гонял свиней, а во время внезапного ливня укрывался с ними под скалой – внизу находилось нечто вроде неглубокого грота, заросшего кустами шиповника и ежевики. Валежник попадался редко, Мари и Жанна перешли мельничный ручей, заметив на другой стороне множество веток, унесенных и выброшенных потоком, а Бернадетта, девочка более хрупкая, боясь промочить ноги, осталась на этом берегу. У нее была сыпь на голове, и мать посоветовала ей надеть капюшон, большой белый капюшон, составлявший резкий контраст с ее старым черным шерстяным платьем. Увидев, что ее спутницы не собираются помочь ей перебраться на другую сторону, Бернадетта решила снять сабо и чулки. Был полдень, в церкви девять раз ударил колокол, возвещая молитву богородице, и звон его уносился в спокойное необъятное зимнее небо, покрытое легким пухом облаков. Тут Бернадетту охватило странное волнение, в ушах ее засвистела буря, – казалось, будто с гор несется ураган; она посмотрела на деревья и изумилась: ни один листок не шевелился. Она решила, что ей почудилось, нагнулась за своими сабо, но вихрь снова пронесся над ней; теперь он коснулся не только ее слуха, но и глаз; она перестала видеть деревья, ее ослепил яркий белый свет, появившийся на скале, повыше грота, в узкой и длинной щели, похожей на стрельчатую арку в соборе. Бернадетта испугалась и упала на колени. Что же это, господи? Иногда, в плохую погоду, когда астма особенно мучила ее, ей снились всю ночь тяжелые сны, после которых при пробуждении оставалось удушье, даже когда она ничего не помнила. Языки пламени окружали ее, солнце сияло прямо в лицо. Не снилось ли ей нечто подобное минувшей ночью? Быть может, это – продолжение забытого сна? Понемногу обозначились контуры фигуры, девочке показалось, что она видит белое от яркого света лицо. Испугавшись, как бы это не оказался дьявол, – ведь голова ее была полна рассказов о колдунах, – Бернадетта схватилась за четки и стала шептать молитвы. Когда свет постепенно исчез и девочка, перейдя мельничный ручей, присоединилась к Мари и Жанне, она с удивлением узнала, что они ничего не видели, хотя собирали хворост перед самым гротом. По дороге в Лурд девочки приступили к ней с расспросами: значит, она что-то видела? Но Бернадетта не хотела отвечать, ей стало стыдно и тревожно; наконец она сказала, что видела фигуру в белом.

С тех пор пошла, разрастаясь, молва. Субиру, узнав об этой детской болтовне, рассердился и запретил дочери ходить к утесу Масабиель. Но все окрестные дети повторяли историю, и родителям пришлось уступить; в воскресенье они разрешили Бернадетте пойти к гроту с бутылкой святой воды, чтобы убедиться, что здесь не замешан дьявол. Бернадетта снова увидела свет и фигуру улыбающейся женщины, которая не побоялась святой воды. Девочка вернулась туда в четверг, но уже не одна, а в сопровождении нескольких человек, и лишь в этот день сияющая женщина обратилась к ней с речью: «Окажите мне услугу, приходите сюда в течение двух недель». Мало-помалу белое видение стало принимать более четкие очертания и наконец превратилось в прекрасную, царственную женщину, каких видишь только на картинках. Сначала Бернадетта неуверенно отвечала на расспросы, которыми соседи допрашивали ее с утра до вечера: ее волновали сомнения. Потом, словно под влиянием этих допытываний, девочка явственнее увидела лицо женщины, оно ожило, в нем появились черты и краски, от описания которых Бернадетта никогда уже не отступала. Глаза были голубые и очень кроткие, розовый рот улыбался, очаровательное лицо сияло юностью, и в то же время в нем было что-то матерински-нежное. Под покрывалом, спускавшимся от головы до пят, еле виднелись роскошные белокурые волосы. Ослепительно белое платье было из невиданной на земле материи, сотканной солнцем. Наброшенный на голову небесно-голубой шарф ниспадал двумя длинными концами, легкий, как утренний ветерок. Четки, которые она держала в правой руке, были из молочно-белых бус, а цепочка и крест – золотые. На босых белоснежных ножках цвели две золотые розы, мистические розы нетленной плоти божьей матери. Где же Бернадетта могла видеть эту свя-

тую деву или изображающую ее статуэтку, такую упрощенно традиционную деву Марию, без единой драгоценности, овеванную наивным обаянием, приписываемым ей простым народом? В какой книжке с картинками – из книжек блага ее кормилицы, доброго священника, который читал такие чудесные сказки? На какой картине или раскрашенном и позолоченном витраже в церкви, где она провела столько дней своего детства? Откуда взялись золотые розы на босых ножках, какое влюбленное воображение благоговейно создало этот образ, символизирующий расцвет женской плоти, в каком рыцарском романе или истории, рассказанной на уроке катехизиса аббатом Адером, нашлось такое описание? А быть может, девочке привиделось это во время ее неосознанных грез наяву, которыми сопровождалась ее блуждания в тенистых рощах Бартреса, когда она без конца повторяла молитвы святой деве?

Голос Пьера стал еще мягче; не все говорил он этим простым духом людям, окружавшим его; но попытка объяснить чудеса, подсказанная скрытым в его душе сомнением, окрашивала его рассказ трепетным чувством братской симпатии. Он еще больше любил Бернадетту за чарующий образ ласковой, привлекательной женщины, созданный ее воображением, – женщины, которая являлась ей в галлюцинациях, так грациозно то показываясь, то исчезая. Сначала девочка видела яркий свет, потом вырисовывались контуры фигуры, женщина ходила, наклонялась, двигалась легко и незаметно, потом она таяла; свет же оставался еще некоторое время и наконец гас, как падающая звезда. Ни одна живая женщина не могла обладать таким белым и розовым лицом, такой красотой, словно на картинках в книжках катехизиса. Ее босые ноги с цветущими золотыми розами не кололись даже о шиповник, растущий возле грота.

Затем Пьер стал рассказывать о других видениях. В четвертый и пятый раз Бернадетта видела ее в пятницу и субботу; но светлая женщина еще не сказала своего имени, она только улыбалась и кивала девочке, не произнося ни слова. В воскресенье она заплакала и сказала Бернадетте: «Помолись за грешников». В понедельник, очевидно, желая испытать девочку, она, к величайшему огорчению последней, вовсе не явилась. Но во вторник она поверила Бернадетте тайну, которую та никому не должна открывать, и наконец указала девочке ее миссию: «Иди и скажи священникам, что в этом месте надо построить часовню». В среду она несколько раз произнесла: «Покаяние! покаяние! покаяние!» Девочка повторила это слово, целуя землю. В четверг она сказала: «Иди к источнику, напейся и умойся из него, и ешь траву, что растет тут, рядом». Эти слова Бернадетта поняла лишь после того, как зашла в самую глубину грота и у нее из-под пальцев полилась вода; произошло чудо, возник волшебный источник. Затем наступила вторая неделя: дева не пришла в пятницу, но являлась все пять следующих дней и повторяла свои приказания, с улыбкой глядя на избранную ею смиренную девочку, а Бернадетта при ее появлении читала молитвы; перебирая четки и поцеловав землю, она на коленях подползала к источнику, чтобы попить и умыться из него. Наконец четвертого марта, в последний день мистических свиданий, дева еще раз настоятельно потребовала построить часовню, чтобы народ стекался сюда со всех концов земли. Однако, несмотря на обращенные к ней просьбы, она пока не называла своего имени; только через три недели, в четверг, двадцать пятого марта, дева, сложив руки и вознеся очи к небу, произнесла: «Я – непорочное зачатие». Она явилась Бернадетте еще два раза: седьмого апреля и шестнадцатого июня; в первый раз произошло чудо со свечой – девочка долго держала над огнем руку и не сожгла ее, второй раз дева явилась для прощания и одарила девочку последней улыбкой, последним приветом. В общем, Бернадетта насчитала восемнадцать явлений, но больше святая дева не показывалась.

Пьер ощущал какое-то раздвоение. Пока он рассказывал прекрасную волшебную сказку, такую сладостную для несчастных слушателей, в душе его возник образ Бернадетты, милой, жалкой девочки, чье страдание распустилось таким пышным цветом. По резкому суждению одного врача, четырнадцатилетняя девочка, поздно развившаяся физически, измученная астмой, была, в сущности, только истеричкой и, несомненно, дегенераткой. Правда, у нее не бывало жестоких припадков, которые сопровождалась бы судорожным кашлем и сильным уду-

шьем, она точно запоминала свои сны, но это лишь указывало на то, что болезнь ее носила весьма любопытный и исключительный характер; все необъяснимое воспринимается как чудо, ибо наука так несовершенна, а в природе, да и в самом человеке так много непонятного! Скольким пастушкам до Бернадетты являлась в детских грезах святая дева! И всегда это была та же озаренная светом женщина, та же тайна, тот же забивший вдруг источник, та же миссия, чудеса, которые должны пробудить религиозное чувство в людских толпах. И всегда это видение является нищему ребенку, освещенное традиционным представлением прихожанина о красоте, кротости и добродетели идеального образа, всегда это наивно по методу и тождественно по цели – избавление народов от неверия, постройка церквей, процессии верующих! Все речи, нисходившие с небес, похожи были друг на друга – одни и те же призывы к покаянию, обещание божественной милости; в данном случае новым было только необычайное утверждение: «Я – непорочное зачатие». Оно являлось как бы признанием самую святой девой догмы, провозглашенной с амвона в Риме за три года до того. Получалось, что девочка видела не непорочную деву, а непорочное зачатие, абстракцию, догму, так что естественно возникал вопрос, почему святая дева так назвала себя. Быть может, Бернадетта где-нибудь слышала и другие слова и бессознательно сохранила их в памяти. Но откуда взялось именно это выражение, подтверждавшее пока еще спорный вопрос о безгрешности святой девы?

Эти события взбудоражили весь Лурд: народ валил валом, начались чудесные исцеления и в то же время – неизбежные преследования, только утверждающие торжество всяких новых верований. Лурдский священник, аббат Пейрамаль, человек честный, прямой и сильный духом, с полным основанием мог сказать, что не знает Бернадетты, – он еще ни разу не видел ее на уроках катехизиса. Кто же оказал давление на детский ум, кто заставил ее выучить этот урок? Правда, оставалось детство в Бартресе, первые наставления аббата Адера, беседы и религиозные обряды, прославляющие недавно провозглашенную догму, а может быть, девочку просто натолкнула на эту мысль полученная ею в подарок медаль с изображением мадонны, – такие медали щедро распространялись среди народа... Аббат Адер, предсказавший миссию Бернадетты, сошел со сцены, о нем не упоминалось ни словом, хотя ему первому довелось понять, что таит в себе детская душа, попавшая в его благочестивые руки. Все неведомые силы глухой деревни пришли в действие, весь этот ограниченный, суеверный мирок бушевал, смущал умы, распространяя атмосферу тайны. Кто-то вспомнил, что пастух из Аржелеса, говоря о скале Масабиель, предсказал, что там произойдут великие события. Другие дети стали впадать в экстаз, сотрясаясь от судорог, с широко раскрытыми глазами; но они видели только дьявола. Казалось, безумие охватило весь край. В Лурде, на площади Порш, какая-то старая женщина утверждала, что Бернадетта – колдунья, она будто бы видела у нее в глазу жабую лапу. Другие, тысячи паломников, набежавших отовсюду, считали ее святой и целовали ее одежду. Люди рыдали, неистовство овладевало толпой, когда девочка падала на колени перед Гротом, держа в правой руке зажженную свечу, а левой перебирая четки. Она бледнела, преображалась, хорошела. Лицо ее приобретало выражение необычайного блаженства, а глаза светились и полуоткрытые губы шевелились, словно девочка произносила неслышные слова. Было совершенно ясно, что у нее нет своей воли, она вся поглощена мечтою и грезит наяву; для нее, жившей в ограниченном и своеобразном мирке, это была единственная бесспорная действительность, за которую она готова была отдать последнюю каплю крови, о которой без конца рассказывала с неизменными подробностями. Бернадетта не лгала, потому что не ведала ничего иного, да и не могла, не хотела ничего иного желать.

Тут Пьер углубился в описание старого Лурда, этого маленького благочестивого городка, дремавшего у подножия Пиренеев. Некогда замок, построенный на скале, на стыке семи долин Лаведана, являлся как бы ключом, открывавшим доступ в горы. Но теперь замок был разрушен и превратился в руины, расположенные у входа в тупик. Волны современной жизни разбивались у подножия этой крепости, этих высоких, покрытых снегом гор; и только железная

дорога через Пиренеи, если бы ее построили, могла бы оживить этот забытый уголок, вдохнуть свежую струю в застоявшуюся здесь, как болото, общественную жизнь. Итак, Лурд безмятежно, лениво дремал среди вековой тишины; узкие улицы с булыжной мостовой, темные дома, отделанные мрамором, ветхие кровли по-прежнему грудились к востоку от замка; улица Грота, называвшаяся тогда улицей Леса, представляла собой пустынную дорогу, по которой никто не ездил; ни один дом не стоял у самого Гава, катившего илистые воды среди одиноких ив и высоких трав. В будни на площади Маркадаль встречались редкие прохожие, спешившие домой хозяйки, празднично гуляющие мелкие рантье, и только по воскресеньям или в ярмарочные дни можно было видеть принарядившихся обывателей и толпы скотоводов, спустившихся с отдаленных гор со своими стадами. С наступлением лечебного сезона некоторое оживление вносила в городок публика, направлявшаяся в дилижансах дважды в день в Котере и Баньер; дилижансы прибывали из По по отвратительной дороге, пересекали вброд Лапаку, которая часто разливалась, затем поднимались по крутой мостовой улицы Бас и следовали дальше вдоль церковной ограды, в тени высоких вязов. А какая тишина вокруг, да и в самой древней церкви, построенной в испанском стиле, со старинной резьбой, колоннами, алтарями, статуями, золотыми образами и расписными иконами, потемневшими от времени и озаренными светом мистических светильников! Все население приходило сюда молиться; здесь оно находило пищу для таинственных грез. Тут не было неверующих, народ наивно верил, каждая корпорация несла знамя своего святого, всякого рода братства объединяли по праздничным дням весь город в одну христианскую семью. Поэтому, подобно прелестному цветку, возвращенному в избранном сосуде, здесь царила исключительная чистота нравов. Молодым людям негде было кутить и развращаться, девушки росли в благоуханной атмосфере красоты и невинности, на глазах у святой девы, башни из слоновой кости, престола премудрости.

Не удивительно поэтому, что Бернадетта, родившись на этой священной земле, расцвела, как пышная роза, распутившаяся на придорожном шиповнике! Она была цветком, который мог вырасти только в этом древнем, верующем и честном краю; только здесь, в отсталой, наивной, мирно дремлющей среде, скованной суровыми понятиями о морали, навязанными верующим религией, и могла развиваться эта детская душа. Какой любовью к Бернадетте вспыхнули сразу все сердца, какую слепую веру, какое огромное утешение и надежду вызвали первые проявления чуда! Громким криком радости встречено было исцеление старика Бурьетта, обретшего зрение, и воскрешение маленького Жюстена Бугогорта, после того как его погрузили в ледяную воду источника. Наконец-то святая дева выступила в защиту обездоленных, заставила мачеху-природу стать справедливой и милосердной. Наступило новое царство божественного всемогущества, опрокидывающего законы мироздания ради счастья страждущих и бедняков. Чудеса множились, с каждым днем становясь все необыкновеннее, как бы подтверждая непреложную истину и правильность слов Бернадетты. Она была благоухающей розой божественного сада, а вокруг нее распускались другие цветы милосердия и спасения.

Пьер, дойдя до этого места, рассказал и о других чудесах, о блестящих исцелениях, прославивших Грот, но тут сестра Гиацинта, стряхнув с себя чары, которыми опутала ее волшебная сказка, быстро вскочила с места.

– Право, это невозможно... Скоро одиннадцать часов...

И в самом деле, поезд уже проехал Морсен и приближался к Мон-де-Марсану. Сестра хлопнула в ладоши.

– Тише, дети мои, тише!

На этот раз никто не решился протестовать, сестра была права. Но какая жалость не дослушать до конца, остановиться на самом интересном месте! Десять паломниц в дальнем купе разочарованно зароптали, а больные, вытянув шею, широко раскрыв глаза, точно в них вливался свет надежды, казалось, еще продолжали слушать. Чудеса, без конца повторяемые, вызывали в них сверхъестественную, огромную радость.

– И чтоб я не слышала ни единой жалобы, – весело добавила монахиня, – иначе я наложу на провинившихся епитимью!

Госпожа де Жонкьер добродушно засмеялась.

– Слушайтесь, дети мои, спите, набирайтесь сил, чтобы от всего сердца молиться завтра в Гроде.

Наступило молчание, никто больше не говорил; лишь гроыхали колеса да пассажиры качались из стороны в сторону, а поезд мчался на всех парах в темной ночи.

Пьер не мог заснуть. Сидевший рядом с ним г-н де Герсен уже слегка похрапывал с довольным видом, несмотря на жесткую скамью. Долго еще священник видел раскрытые глаза Мари; в них как бы отражался отблеск чудес, о которых он рассказывал. Она жадно смотрела на Пьера, потом смежила веки, и он не знал, заснула она или переживает, закрыв глаза, бесконечную сказку. Больные грезил вслух, смеялись, бессвязно что-то бормотали. Быть может, им являлись во сне архангелы, освобождающие от мук их тело. Иные переворачивались с боку на бок, не в силах заснуть, заглушая рыдания, пристально вглядываясь в темноту. А Пьер, охваченный трепетом, растерявшись от этой атмосферы тайны, которую он сам же создал, возненавидел себя за свою рассудочность; тесное общение со смиренными, страждущими братьями исполнило его решимости стать верующим, как и они. Зачем ему нужно изучать физическое состояние Бернадетты, – это так сложно и полно неясностей. Почему не видеть в ней посланницу потустороннего мира, божественную избранницу? Врачи – невежды с грубыми руками. А как сладостно усыпить себя младенческой верой, блуждать в волшебных садах невозможного! Наконец-то настала для него чудесная минута забвения, он не пытался ничего себе объяснять, отдавшись всецело в руки господа бога, поверив в ясновидящую с ее пышным кортежем чудес. Пьер смотрел в окно, которое не открывали из-за чахоточных; он видел глубокую ночь, окутавшую поля, по которым мчался поезд. Гроза, очевидно, разразилась именно здесь, ночное небо было безупречно чисто, словно омытое ливнем. На его темном бархате сияли яркие звезды и лили таинственный свет на освежившиеся немые поля, мирно спавшие, простираясь в бесконечную темную даль. Скорбный поезд, перегретый, зловонный, наполненный жалобными стонами, мчался через равнины, долины и холмы в прекрасную, безмятежную ночь.

В час ночи проехали Рискль. В раскачивающемся вагоне стояла тяжкая, бредовая тишина. В два часа утра, в Вик де Бигор, поднялись глухие жалобы: плохое состояние пути вызывало нестерпимую тряску, раздражавшую больных. И только после Тарба, в половине третьего, паломники и больные в полной темноте прочли утренние молитвы – «Отче наш», молитвы богородице, «Верую»; люди взывали к богу, моля дать им счастье и радость в грядущем дне.

– О господи! Дай мне силы избежать зла, содейть добро, перенести все муки!

Следующая остановка предстояла уже в Лурде. Еще три четверти часа, и после жестокой, долгой ночи засияет Лурд, а с ним огромная надежда. Пробуждение было мучительным и лихорадочным, паломниками овладело волнение; больные плохо чувствовали себя, снова начинались ужасные страдания.

Сестра Гиацинта больше всего беспокоилась об умирающем, которому она все время вытирала лицо, покрывавшееся потом. Он все еще жил, и она, не смыкая глаз, сидела над ним, прислушиваясь к его слабому дыханию, страстно желая довести его хотя бы до Грота.

Но вдруг ей стало страшно, и, обращаясь к г-же де Жонкьер, она попросила:

– Пожалуйста, передайте мне скорее бутылку с уксусом... Я больше не слышу его дыхания.

И действительно, слабое дыхание на минуту прекратилось. Глаза больного были закрыты, рот полуоткрыт; больше побледнеть он уже не мог, он похолодел, лицо его приняло землистый оттенок. А поезд мчался, гремя железом, и, казалось, даже быстрее обычного.

– Я хочу натереть ему виски, – повторила сестра Гиацинта. – Помогите мне.

В эту минуту вагон сильно качнуло, и больной от толчка упал вниз лицом.

– Ах, боже мой! Помогите мне, поднимите его!

Больного подняли, он был мертв. Пришлось посадить его в угол, прислонив спиной к перегородке. Он сидел прямо, застывший, окоченевший, и только голова его слегка качалась от каждого толчка. Поезд мчался дальше с тем же грохотом, а паровоз, видно от радости, что путь подходит к концу, пронзительно свистел, прорезая спокойствие ночи счастливыми фанфарами.

Прошли бесконечные полчаса, и вот путешествие с мертвецом окончилось. Две крупные слезы скатились по щекам сестры Гиацинты; сложив руки, она стала молиться. Весь вагон содрогался от ужаса перед страшным спутником, которого слишком поздно привезли к святой деве. Но надежда была сильнее боли, и хотя у несчастных, скученных в этом вагоне, вновь пробудились страдания, усугубляемые невероятной усталостью, тем не менее торжественное вступление на землю чудес ознаменовалось радостной молитвой. Больные запели «Привет тебе, звезда морей»; иные плакали от боли, иные выли, шум возрастал, и жалобы сменились надеждой.

Мари вновь схватила руку Пьера своими дрожащими пальцами.

– Ах, боже мой! Этот человек умер, а ведь я сама так боялась умереть, не доехав!.. И вот мы наконец прибыли.

Священник дрожал, как в лихорадке, так велико было его волнение.

– Вы должны исцелиться, Мари, и я тоже исцелюсь, если вы помолитесь за меня.

Паровоз свистел все сильнее в голубоватой мгле. Поезд подъезжал, на горизонте светились огни Лурда. Весь вагон пел песнопение о Бернадетте, бесконечную, одуряющую жалобу в шесть десятков куплетов, с припевом, славящим ангелов, – песнопение, приводящее в экстаз.

Второй день

Глава I

На вокзальных часах, освещенных рефлектором, было двадцать минут четвертого. Под навесом платформы, длиною в сотню метров, взад и вперед шагали в ожидании людские тени. Вдали, в темных полях, виднелся лишь красный сигнальный огонь.

Двое шагавших остановились. Тот, что повыше, преподобный отец Фуркад, крепкий шестидесятилетний старик в черной пелерине с длинным капюшоном, священник Общины успения, ведавший всем паломничеством, приехал накануне. Своей красивой головой, властным взглядом светлых глаз и густой седеющей бородой он напоминал военачальника, воспламененного волей к победе. Он немного волочил ногу, скованную внезапным приступом подагры, и опирался на плечо своего спутника, доктора Бонами; врач, приземистый человек с гладко выбритым, спокойным лицом, мутными глазами и крупным носом, работал в бюро регистрации исцелений.

– Что, белый поезд намного опаздывает, сударь? – спросил отец Фуркад начальника станции, выбежавшего из служебной комнаты.

– Нет, преподобный отец, самое большее на десять минут. Он будет здесь в половине четвертого... Но меня беспокоит поезд из Байонны, он должен был уже пройти.

И он побежал отдать какое-то распоряжение, а затем вернулся. Начальник станции был худой, нервный и беспокойный человек; во время больших паломничеств его охватывало лихорадочное возбуждение, он круглые сутки оставался на ногах. В то утро, помимо обычной работы, он должен был принять восемнадцать поездов, более пятнадцати тысяч пассажиров. Серый и голубой поезда, вышедшие первыми из Парижа, уже прибыли в положенное время. Но опоздание белого поезда осложняло положение, тем более, что ничего не было известно и о прибытии экспресса из Байонны; естественно поэтому, что начальнику станции приходилось зорко следить за всем, что происходит, и держать весь персонал начеку.

– Значит, через десять минут? – повторил отец Фуркад.

– Да, через десять минут, если путь будет свободен! – бросил на бегу начальник станции, устремляясь на телеграф.

Священник и доктор медленно возобновили прогулку. Они удивлялись, как в такой суете не случалось серьезных аварий. Раньше здесь царил совершенно невероятный беспорядок. Отец Фуркад вспомнил первое паломничество, которое он организовал в 1875 году: ужасное, бесконечное путешествие, без подушек и тюфяков, с полумертвыми больными, которых нечем было привести в чувство. А затем, по приезде в Лурд, беспорядочная высадка, причем для больных ничего не было приготовлено – ни лямок, ни носилок, ни колясок. Теперь же существовала мощная организация, больных ожидали больницы, их не приходилось укладывать на солому под навесом. Но какую встряску переживали эти несчастные! Какая сила воли направляла верующих к чудесному исцелению! И священник ласково усмехался, говоря о своем детище.

Он стал расспрашивать теперь доктора, продолжая опираться на его плечо.

– Сколько было у вас паломников в прошлом году?

– Около двухсот тысяч. Эта средняя цифра удерживается... В год, когда праздновали собор пресвятой богородицы, их понаехало тысяч пятьсот. Но это был исключительный случай, пришлось вести усиленную пропаганду. Конечно, такую уйму людей можно собрать лишь однажды.

После минутного молчания священник пробормотал:

– Разумеется... Дело это благословенное, оно ширится с каждым днем: на одну только эту поездку мы собрали подаяниями около двухсот пятидесяти тысяч франков, и бог пребудет с нами; я убежден, что вы удостоверите завтра множество исцелений.

– А что, отец Даржелес не приехал? – спросил он затем. Доктор Бонами неопределенно развел руками, давая понять, что он этого не знает.

Отец Даржелес редактировал «Газету Грота». Он был членом ордена «Непорочного зачатия», учрежденного в Лурде епископатом; члены этого ордена были здесь полными хозяевами. Но когда отцы Общины успения привозили из Парижа паломников, к которым присоединялись верующие из городов Камбре, Арраса, Шартра, Труа, Реймса, Сана, Орлеана, Блуа, Паутье, они нарочно отстранялись от дел и словно исчезали: их не видно было ни в Гроде, ни в Базиле; они как будто передавали отцам Общины успения вместе с ключами и ответственность. Их настоятель, отец Капдебарт, неуклюжий, угловатый человек с грубым лицом, на котором словно запечатлелся угрюмый, бурый отблеск земли, даже не показывался. Только отец Даржелес, маленький вкрадчивый человечек, всюду вертелся, собирая материал для газеты. Но если отцы «Непорочного зачатия» исчезали, то их присутствие неизменно чувствовалось за кулисами этого грандиозного предприятия; они были скрытой силой, всевластными хозяевами, выколачивавшими деньги, без устали работавшими ради успешного процветания фирмы. И для этого они пускали в ход все, вплоть до собственного смирения.

– М-да, пришлось сегодня рано подняться, в два часа, – весело проговорил отец Фуркад, – но мне хотелось быть здесь, а то что сказали бы бедные чада мои?

Так он называл больных, этот материал для проявления чуда, и никогда не упускал случая быть на вокзале, независимо от часа, для встречи скорбного белого поезда – поезда величайших страданий.

– Двадцать пять минут четвертого, осталось пять минут, – сказал д-р Бонами, взглянув на часы и подавляя зевок, очень недовольный, несмотря на свою чрезмерную почтительность, тем, что ему пришлось так рано подняться.

На платформе, напоминавшей крытую аллею для прогулки, продолжалось медленное шарканье в темноте, пронизанной желтыми полосами света от газовых рожков. Смутные фигуры – священники, мужчины в сюртуках, драгунский офицер – маленькими группами непрерывно ходили взад и вперед, слышался сдержанный гул голосов. Некоторые сидели на скамейках, расставленных вдоль фасада, и разговаривали или терпеливо ждали, устремив глаза в темную даль полей. Служебные помещения и залы для ожидания были ярко освещены, а в буфете с мраморными столиками, также ярко освещенном, были расставлены на стойке корзины с хлебом и фруктами, бутылки и стаканы.

Справа, там, где кончался навес, было особенно много народа; отсюда выносили больных. Широкий тротуар был загроможден носилками, повозками, подушками, тюфяками. Здесь ожидали поезда три партии санитаров, принадлежавших к различным классам населения; особенно много было молодых людей из высшего общества, одежду которых украшал красный крест с оранжевой каймой; на плечах у них висели желтые кожаные лямки. На многих были береты – местный головной убор. Некоторые, снарядившись словно в далекую экспедицию, надели красивые гетры до колен. Одни курили, другие, усевшись в повозку, спали или читали газету при свете соседнего фонаря. Поодаль спорила группа людей.

Внезапно санитары вскочили. К ним подошел седой человек с добродушным полным лицом и большими голубыми детски-доверчивыми глазами. Это был барон Сюир, местный богач, стоявший во главе убежища для паломников – Дома богоматери всех скорбящих. Санитары поклонились ему.

– Где Берто? – спрашивал он с озабоченным видом, переходя от одной группы к другой. – Где Берто? Мне нужно с ним поговорить.

Все давали противоречивые указания. Берто был начальником санитаров. Одни только что видели господина начальника с преподобным отцом Фуркадом, другие утверждали, что он, должно быть, на вокзальном дворе осматривает фургоны для перевозки больных.

– Если господин председатель желает, мы пойдем поищем господина начальника...

– Нет, нет, спасибо, я сам его найду.

А в это время Берто, усевшись на скамью в противоположном конце вокзала, беседовал в ожидании поезда со своим молодым другом Жераром Пейрелонгом. Берто было лет сорок; его красивое, правильное лицо обрамляли холеные бакенбарды. Выходец из семьи воинствующих легитимистов, он сам придерживался весьма реакционных взглядов; после 24 мая он был назначен прокурором республики в один из южных городов, но как только были изданы декреты, направленные против конгрегации, он написал министру юстиции дерзкое письмо и со скандалом вышел в отставку. Однако он не сложил оружия и в знак протеста вступил в Общину заступницы небесной; каждый год он появлялся в Лурде, убежденный, что паломничества раздражают правительство, что они опасны для республики и что только святая дева может восстановить монархию с помощью одного из своих многочисленных чудес. Впрочем, Берто обладал здравым смыслом, охотно смеялся и сочувственно относился к несчастным больным, заботясь об их транспортировке в течение трех дней организованного паломничества.

– Итак, милый Жерар, – говорил он сидевшему рядом с ним молодому человеку, – ты хочешь в этом году жениться?

– Конечно, если найду подходящую жену, – ответил тот. – Послушай, кузен, дай мне хороший совет!

Жерар де Пейрелонг, небольшого роста, худощавый, рыжий, с длинным носом и костлявым лицом, был родом из Тарба; он недавно лишился родителей, оставивших ему ренту в семь или восемь тысяч франков. Будучи очень честолюбив, он не нашел у себя в провинции подходящей невесты из хорошей семьи, с помощью которой он мог бы сделать карьеру. Поэтому он вступил в члены Попечительства и ездил каждый год в Лурд в смутной надежде найти в толпе верующих, в этом потоке благомыслящих женщин и девушек, ту, которая поможет ему пройти свой жизненный путь в сей земной юдоли. Но он оказался в затруднительном положении; у него на примете было несколько молодых девиц, однако ни одна не удовлетворяла полностью его требованиям.

– Нет, правда, кузен, ты человек опытный и дашь мне совет... Сюда приезжает мадемуазель Лемерсье с теткой; она очень богата, говорят, за ней дают больше миллиона... Но она не нашего круга и довольно легкомысленна.

Берто покачал головой.

– Я тебе уже говорил, женись на Раймонде де Жонкьер.

– Но у нее нет ни гроша за душой!

– Верно, они еле сводят концы с концами. Но она довольно хороша собой, прекрасно воспитана, не расточительна, а это имеет решающее значение; к чему жениться на богатой девушке, если она истратит все, что принесет в приданое? К тому же, видишь ли, я очень хорошо знаком с госпожой де Жонкьер и ее дочерью, я встречаюсь с ними зимой в самых влиятельных салонах Парижа. Наконец не следует забывать, что у Раймонды есть дядя дипломат, у которого хватило печального мужества остаться на службе у республики, – он сделает для племянника все, что захочет.

С минуту Жерар колебался, а затем нерешительно произнес:

– Ни гроша, ни гроша! Нет, это невозможно... Я еще подумаю, но, право... боюсь!

Тут Берто откровенно рассмеялся:

– Послушай, ты честолюбив, надо дерзать. Я же тебе говорю, что он секретарь посольства... Де Жонкьеры едут в поезде, который мы встречаем. Решайся, начни ухаживать.

– Нет, нет!.. Потом, я хочу подумать.

Их разговор перебил барон Сюир, который уже раз проходил мимо, но не заметил их в темном углу, а теперь узнал бывшего прокурора республики по добродушному смеху. Он тут же, с живостью, свойственной легко возбуждающимся людям, отдал Берто распоряжения относительно экипажей и транспортировки больных, сокрушаясь, что из-за слишком раннего часа их нельзя сразу доставить к Гроту. Больных должны были разместить в Больнице богоматери всех скорбящих, чтобы дать им отдохнуть после трудного пути.

Пока барон и начальник санитаров обсуждали меры, которые следовало принять по прибытии поезда, к Жерару подошел священник и, поздоровавшись, сел рядом с ним на скамью. Аббат Дезермуаз, мужчина лет тридцати восьми, был хорош собой, тщательно причесан, надут, любим женщинами – словом, это был светский священник. Любезный и приятный в обращении, он приезжал в Лурд, как многие, ради собственного удовольствия; в его красивых глазах искрилась скептическая улыбка человека, свысока относящегося к идолопоклонству. Конечно, он был верующим, преклонялся перед святой девой, но, поскольку церковь не высказала своего суждения относительно чудес, он готов был оспаривать их существование. Аббат жил в Тарбе и знал Жерара.

– Не правда ли, какое сильное впечатление производит это ожидание поезда ночью!.. Я встречаю одну даму из Парижа, мою духовную дочь; только не знаю, с каким поездом она приедет, но, как видите, остаюсь, настолько это меня увлекает.

К ним подошел еще один священник, старый деревенский кюре; аббат Дезермуаз снисходительно заговорил с ним о красотах Лурда и о том поистине театральном эффекте, какой производят горы при восходе солнца.

Внезапно на перроне снова началось оживленное движение. Пробежал начальник станции, на ходу отдавая распоряжения. Отец Фуркад, несмотря на больную ногу, перестал опираться на плечо доктора Бонами и быстро подошел к сидевшим.

– Да, байоннский экспресс застрял, – послышался голос начальника станции, отвечавшего кому-то на вопрос. – Я очень беспокоюсь, хотелось бы узнать, в чем дело.

Раздались звонки, один из железнодорожных служащих бросился в темноту, размахивая фонарем, а вдали показались сигнальные огни.

– Ну, на сей раз это белый поезд, – воскликнул начальник станции. – Надеюсь, мы успеем высадить больных до прибытия экспресса.

Он вновь убежал. Берто позвал Жерара, возглавлявшего партию санитаров, и оба поспешили к своим людям, уже собиравшимся вокруг барона Сюира. Санитары сходились со всех сторон, волновались, подвозили в темноте тележки к открытой платформе, возле которой вскоре выросла груда подушек, тюфяков, носилок; отец Фуркад, доктор Бонами, священники, мужчины в штатском, драгунский офицер – все подошли, чтобы присутствовать при высадке больных. Очень далеко, в темных полях, виднелся фонарь паровоза, похожий на растущую красную звезду. Пронзительные свистки прорезали тьму. Но вот они стихли, слышно было лишь пыхтение пара и глухое гроыханье колес, постепенно замедляющих ход. Тогда встречающие отчетливо услышали звуки песнопения – жалобу Бернадетты, с неизменным, без конца повторяющимся припевом, которую пели пассажиры. Скорбный, полный горячей веры, стелющийся и пения, поезд остановился.

Тотчас же раскрылись дверцы, группа паломников и ходячих больных вышла и загрохотала платформу. Редкие газовые фонари слабо освещали толпу невзрачно одетых бедняков, нагруженных пакетами, корзинками, чемоданами, деревянными баулами; началась толкотня – растерянные люди метались из стороны в сторону в поисках выхода; потерявшие друг друга родственники перекликались, встречавшие поезд друзья и родные целовали прибывших. Какая-то женщина блаженно объявила удовлетворенным тоном: «Как я выпалась!» Священник мимоходом сказал искалеченной даме: «Желаю успеха!» У большинства было растерянное, усталое

и довольное выражение лица, как у людей, высадившихся из поезда на незнакомой станции для увеселительной прогулки. Наконец суэта в темноте достигла таких размеров, что путешественники уже не слышали голосов служащих, кричавших до хрипоты: «Сюда! сюда!», чтобы как можно скорее освободить перрон.

Сестра Гиацинта быстро вышла из вагона, оставив умершего на попечение сестры Клер Дезанж, и побежала к вагон-буфету, немного растерянная, надеясь на помощь Феррана. К счастью, она увидела перед вагоном отца Фуркада и тихонько рассказала ему о происшествии. Подавив раздражение, он подозвал проходившего мимо барона Сюира и наклонился к его уху. Несколько мгновений они шептались, затем барон Сюир растолкал толпу и вернулся с двумя санитарями, несшими крытые носилки. Покойника унесли как больного, впавшего в бессознательное состояние, и паломники, взволнованные прибытием, не обратили на это никакого внимания; санитары, следовавшие за бароном, поставили пока что носилки в багажное отделение, за бочонками. Один из них, небольшого роста блондин, сын генерала, остался сторожить тело.

Сестра Гиацинта вернулась к себе в вагон, попросив сестру Сен-Франсуа подождать ее во дворе вокзала возле экипажа, который должен был отвезти их в Больницу богоматери всех скорбящих; в вагоне она сказала, что не уедет, пока не поможет своим больным высадиться на перрон; Мари попросила, чтобы ее не трогали.

– Нет, нет, не беспокойтесь обо мне, сестра, я выйду последней... Отец и аббат Фроман пошли к багажному вагону за колесами; я их жду, они знают, как это делается, и привезут меня, не беспокойтесь.

Господин Сабатье и брат Изидор также просили не трогать их, пока не схлынет толпа. Г-жа де Жонкьер, взявшая на себя заботу о Гривотте, обещала последить за тем, чтобы г-жу Ветю перевезли в больницу в санитарной карете.

Тогда сестра Гиацинта решила тотчас же уехать, чтобы все приготовить в больнице. Она взяла с собой маленькую Софи Куто и Элизу Руке, заботливо закутав ей лицо. Г-жа Маэ пошла вперед, а г-жа Венсен, держа на руках потерявшую сознание девочку, пробивала себе дорогу в толпе с единственной мыслью бежать к Гроту и скорее положить ребенка к стопам святой девы. Теперь все толпились у выхода. Пришлось открыть двери багажного зала, чтобы толпа могла быстрее рассосаться; контролеры, не зная, как проверить билеты, подставляли фуражки, куда дождем сыпались картонные квадратики.

На большом прямоугольном дворе, куда с трех сторон выходили станционные постройки, теснились всякого рода экипажи и стоял невообразимый гул. На омнибусах гостиниц, придвинутых задками к краю тротуара, значились всеми почитаемые имена Марии и Иисуса, св. Михаила, монастырей Розер и Сердца Иисусова. За ними вытянулись в ряд санитарные кареты, ландо, кабриолеты, повозки, маленькие тележки, запряженные осликами; кучера кричали, ругались – стоял невероятный шум, усиливаемый темнотой, пронизанной ярким светом фонарей. Часть ночи бушевала гроза, и теперь лошади месили ногами жидкую грязь, пешеходы по щиколотку увязали в лужах. Г-н Виньерон, за которым следовали растерянные г-жа Виньерон и г-жа Шез, взял на руки Гюстава вместе с его костылями и посадил мальчика в омнибус Гостиницы явлений, куда следом за ним вошли его спутницы. Г-жа Маэ с ужимками чисто-плотной кошки, боящейся запачкать лапки, подозвала кучера и села в старую карету, назвав адрес сестер Общины святого духа. Наконец и сестра Гиацинта уселась с Элизой Руке и Софи Куто во вместительный шарабан, где уже находились Ферран и сестры Сен-Франсуа и Клер Дезанж. Кучера хлестали маленьких быстрых лошадок, экипажи с адовым грохотом трогались с места, народ кричал, кругом летели брызги грязи.

Госпожа Венсен не решалась перейти со своей драгоценной ношей через это волнующееся море. Порою вокруг нее раздавался смех. «Ах, какая грязь!» – говорил кто-то, и люди, отряхиваясь, шли дальше. Понемногу двор опустел, и г-жа Венсен двинулась в путь. Какой ужас, если она поскользнется в темноте и упадет в лужу! Выйдя на спускавшуюся под гору дорогу,

г-жа Венсен заметила группу местных жительниц, поджидавших приезжих, чтобы предложить им по умеренным ценам комнаты с постелью и столом.

– Сударыня, – обратилась она к одной старушке, – скажите, пожалуйста, как пройти к Гроту?

Женщина, не отвечая на вопрос, предложила недорогую комнату:

– Все переполнено, вы ничего не найдете в гостиницах... Еще стол, пожалуй, получите, но уж где переночевать, и не ищите.

Есть, спать! Ах, боже мой, да разве г-жа Венсен думала об этом, когда после всех издержек у нее осталось тридцать су в кармане.

– Как пройти к Гроту, сударыня?

Среди женщин, искавших клиентов, была высокая полная девушка, с виду похожая на служанку, очень чистенькая и опрятная. Она тихонько пожала плечами. Увидя проходившего мимо широкоплечего румяного священника, она бросилась за ним, предложила меблированную комнату и, продолжая идти рядом, стала нашептывать ему что-то на ухо.

– Идите по этой дороге, – сказала г-же Венсен другая девушка, сжавшись над нею, – потом сверните направо, так и дойдете до Грота.

На платформе по-прежнему продолжалась толкотня. Паломники и больные, которые в состоянии были ходить, постепенно освобождали перрон, но с тяжелобольными было труднее, – требовалось немало усилий, чтобы высадить их из вагона и увезти. Растерянные санитары бежали со своими носилками и тележками, не зная, с какого конца взяться за дело.

Берто в сопровождении Жерара шел по перрону, жестикулируя на ходу, как вдруг заметил двух дам и молоденькую девушку; они стояли подле фонаря и, казалось, кого-то ждали. Он узнал Раймонду и быстрым движением руки остановил своего спутника.

– Ах, как я рад вас видеть, мадемуазель! Надеюсь, ваша матушка здорова и вы добрались благополучно? – И, не дожидаясь ответа, продолжал: – Мой двоюродный брат, господин Жерар де Пейрелонг.

Раймонда внимательно оглядела молодого человека своими светлыми, улыбающимися глазами.

– О, я имею удовольствие немного знать господина Жерара. Мы уже встречались в Лурде.

Жерар, считая, что его двоюродный брат слишком круто повел дело, и твердо решив не брать на себя никаких обязательств, удовольствовался весьма учтивым поклоном.

– Мы ждем маму, – продолжала Раймонда. – Она очень занята, у нее тяжелые больные.

Белокурая хорошенькая г-жа Дезаньо воскликнула, что так и надо г-же де Жонкьер, зачем она отказалась от их услуг? От нетерпения г-же Дезаньо не стоялось на месте, она вся горела желанием быть полезной; а молчаливая г-жа Вольмар, стараясь оставаться незамеченной, вглядывалась во тьму своими чудесными искристыми глазами с поволокой, точно искала кого-то.

В это время толпа заколыхалась; г-жу Дьелафе выносили из купе первого класса, и г-жа Дезаньо не могла удержаться от восклицания:

– Ах, бедняжка!

Действительно, это было грустное зрелище: молодая женщина, худая, как скелет, лежала в своем ящике, словно в гробу, утопая в роскошных кружевах, и терпеливо ждала, когда ее унесут. Ее муж и сестра, изысканно одетые, печально стояли рядом, а слуга тем временем побежал с чемоданами во двор узнать, приехала ли за ними большая коляска, заказанная по телеграфу. Аббат Жюден также находился при больной, и, когда два человека подняли ее, он нагнулся, сказал ей: «До свиданья!» – и произнес несколько ободряющих слов, которых она даже не расслышала. Затем добавил, обращаясь к Берто, с которым был знаком:

– Несчастные! Если бы они могли купить ей выздоровление! Я сказал им, что самое бесценное золото – это горячая молитва святой деве; надеюсь, что и я достаточно помолился,

чтобы тронуть небеса... Они привезли роскошный подарок для Базилики – золотой фонарь, осыпанный драгоценными камнями, настоящий шедевр... Да соблаговолит улыбнуться им непорочная дева!

В Лурд привозили множество даров; среди огромных букетов особое внимание привлекал тройной венок из роз на деревянной подставке. Старый священник пояснил своему собеседнику, что ему должны передать хоругвь, дар красивой г-жи Жуссер, сестры г-жи Дьелафе, поэтому он задерживается на вокзале.

В эту минуту появилась г-жа де Жонкьер; увидев Берто и Жерара, она подозвала их жестом:

– Прошу вас, господа, зайдите вот в этот вагон. Мне нужна ваша помощь: здесь трое или четверо больных, которых необходимо вынести... Я в отчаянии, одной мне никак не справиться.

Жерар, попрощавшись с Раймондой, уже бежал к вагону, а Берто посоветовал г-же Жонкьер уехать, уверяя, что ей нет нужды здесь оставаться – он все берет на себя и через три четверти часа ее больные будут доставлены на место, в больницу. Она согласилась и наняла коляску вместе с Раймондой и г-жой Дезаньо. В последний момент исчезла г-жа Вольмар; она подошла к какому-то незнакомцу, очевидно, чтобы о чем-то его спросить. Впрочем, они встретятся с ней в больнице.

Берто подошел к Жерару в тот момент, когда молодой человек с помощью двух товарищей старался вынести из вагона г-на Сабатье. Это была нелегкая задача, потому что больной был очень грузен, и казалось, не пройдет в дверь купе. Однако раньше ведь его внесли! Два санитары вошли с другой стороны, и наконец больного удалось положить на перрон. Занимался бледный день, и платформа, с выгружавшимся импровизированным походным госпиталем, представляла при этом сером свете особенно жалкой. Гривотта без сознания лежала на тюфяке, – за ней должны были прийти санитары, – а г-жу Ветю пришлось посадить под газовым фонарем: у нее начались такие острые боли, что она кричала при малейшем прикосновении. Санитары в перчатках с трудом везли на своих маленьких тележках омерзительно грязных женщин со старыми корзинками в ногах; другие не могли выбраться из толчеи из-за носилок, на которых лежали, вытянувшись, сжав губы, больные с тоскующими глазами. Убогим и калекам как-то удавалось пробираться к выходу; хромым священник ковылял рядом с маленьким мальчиком на костылях, безногим и горбатым, похожим на гнома. Несколько человек собралось вокруг согнутого вдвое паралитика, которого пришлось нести на стуле, – голова и ноги его свешивались вниз.

Но совершенное смятение овладело толпой, когда начальник станции, бросившись вперед, закричал:

– Подходит экспресс из Байонны... Скорей! Скорей! Осталось три минуты.

Отец Фуркад, на целую голову возвышавшийся над толпой, стоял, опираясь на руку доктора Бонами, и весело подбадривал тяжелобольных; он подозвал жестом Берто и сказал:

– Кончайте высадку, потом увезете их.

Совет был мудрым, высадку закончили. В вагоне осталась только Мари, терпеливо ожидавшая отца и Пьера; они наконец пришли с двумя парами колес. Пьер с помощью Жерара торопливо высадил девушку, легонькую, как озябшая птичка; затруднение представлял только ящик. Наконец мужчины вытащили его и поставили на колеса. Пьер мог бы сейчас же увезти Мари, но толпа не пускала их.

– Скорей, скорей, – повторял начальник станции.

Он сам помогал при высадке, поддерживал ноги больного, чтобы его поскорее вынесли из купе, подталкивал тележки, освобождая перрон. В одном из вагонов второго класса осталась женщина, у которой начался страшный нервный припадок; она вопила, вырывалась из рук. До нее нельзя было дотронуться. А экспресс уже приближался, возвещая о своем прибытии

непрерывной трелью электрического звонка. Пришлось закрыть дверцы и отвести поезд на запасный путь, где он должен был простоять три дня, чтобы потом снова принять свой груз больных и паломников. Он отошел под непрерывные крики несчастной больной, запертой в вагоне с монахиней, но эти крики становились все слабее и наконец затихли.

– Слава богу! – пробормотал начальник станции. – Как раз вовремя!

В самом деле, байоннский экспресс молнией пронесся на всех парах мимо перрона, забитого несчастными горемыками. Тележки, носилки трянуло как следует, но несчастных случаев не произошло: станционные служащие следили за тем, чтобы обезумевшая толпа, теснившаяся к выходу, не загромождала пути. Вскоре порядок был восстановлен, санитары с осторожной медлительностью закончили переноску больных.

Дневной свет становился ярче, заря, разгораясь, освещала небо, и отблеск ее ложился на землю. Из мрака выступали люди и предметы.

– Нет, еще минутку! – повторяла Мари Пьеру, который пытался выбраться из толпы. – Подождем, пока схлынет народ.

Ее заинтересовал старик лет шестидесяти, с большой головой и седыми волосами, подстриженными щеточкой, с виду бывший военный. Он выглядел бы еще крепким, если бы не волочил левую ногу, опираясь левой рукой на толстую палку.

Господин Сабатье, семь лет ездивший сюда, заметил его и весело окликнул:

– А, это вы, командор!

Был ли это его чин или фамилия – неизвестно. Он носил орден на широкой красной ленте, и его могли так прозвать, хотя он был просто кавалером этого ордена. Никто в точности ничего не знал о нем; у него была, вероятно, где-нибудь семья, дети, однако ни один человек о них не слыхал. Три года он служил на товарной станции, занимая скромное место, предоставленное ему из милости, и получал небольшое жалованье, позволявшее ему жить не нуждаясь. В пятьдесят пять лет с ним случился апоплексический удар, который повторился через два года, – следствием его явился частичный паралич левой стороны. Теперь он совершенно спокойно дожидался третьего удара, готовый умереть в любую минуту. И весь Лурд знал о его мании – встречать каждый поезд с паломниками, волоча ногу и опираясь на палку, и гневно упрекать больных за их страстное желание выздороветь.

Три года подряд он встречал г-на Сабатье и обрушивал на него весь свой гнев.

– Как, вы опять здесь? Вы, видно, очень держитесь за эту гнусную жизнь?.. Черт возьми, да умрите вы спокойно дома, в своей постели! Разве это не лучше всего на свете?

Господин Сабатье засмеялся, несколько не обижаясь, но его так грубо выволокли из вагона, что он остался совсем без сил.

– Нет, нет, я предпочитаю выздороветь!

– Выздороветь, выздороветь, все этого хотят! Мчатся за сотни лье, приехать разбитым, воя от боли, для того, чтобы выздороветь и снова – те же мучения!.. Взять хотя бы вас, – многого вы добьетесь в ваши годы, да еще с таким расшатанным здоровьем, если ваша святая дева исцелит вам ноги? На что это вам, господи! Какая вам радость продлить еще на несколько лет отвратительную старость? Уж лучше умрите сейчас, вот это действительно счастье!

Он говорил это вовсе не как верующий, который надеется на вознаграждение в будущей жизни, а как усталый человек, жаждущий вечного покоя, небытия.

Господин Сабатье пожал плечами, как будто имел дело с ребенком, а аббат Жюден, получивший наконец хоруговь, подошел к командору; он тоже его знал и тихонько побранил:

– Не богохульствуйте, дорогой мой. Отказываясь от жизни и презирая здоровье, вы гневите бога. Поверьте, вам самому надо было бы испросить у святой девы исцеления.

Командор вышел из себя.

– Исцелить мою ногу! Ничего ваша святая дева не может сделать, я совершенно на этот счет спокоен! Пусть явится смерть, и пусть все кончится!.. Когда приходит пора умирать, надо просто повернуться к стене и умереть!

Но старый священник прервал его и, указывая на Мари, которая слушала их разговор, лежа в ящике, проговорил:

– Вы хотите, чтобы все наши больные умирали у себя дома? И эта девушка, полная молодости и желания жить, тоже?!

Мари жадно глядела вокруг своими огромными глазами, она хотела жить, хотела получить свою долго счастья в необъятном мире. Командор подошел, посмотрел на нее с глубоким волнением и сказал дрожащим голосом:

– Если вы исцелитесь, мадемуазель, я желаю вам другого чуда – счастья.

И разгневанный философ отошел, волоча ногу и стуча по железным плитам тяжелой тростью.

Понемногу перрон опустел, г-жу Ветю и Гривотту унесли. Жеррар увез в маленькой тележке г-на Сабатье, а барон Сюир и Берто уже отдавали приказания для принятия следующего поезда – зеленого. Осталась одна Мари, которую ревниво оберегал Пьер. Аббат повез ее во двор при вокзале, как вдруг они заметили, что г-н де Герсен куда-то исчез; впрочем, они недолго искали его: он стоял совсем рядом и разговаривал с аббатом Дезермуаз, с которым только что познакомился. Их сблизила любовь к природе. Стало совсем светло, во всем своем величии показались окрестные горы, и г-н де Герсен восторженно воскликнул:

– Что за край, сударь! Вот уже тридцать лет, как я хочу посетить котловину Гаварни. Но это далеко отсюда и поездка туда так дорого стоит, что я, наверно, не осилю такого путешествия.

– Вы ошибаетесь, сударь, нет ничего проще; нужно только подобрать компанию, расход будет небольшой. Я как раз собираюсь туда, и если вы хотите принять участие...

– А как же, сударь!.. Мы еще поговорим об этом, премного вам благодарен!

Дочь позвала его, и он направился к ней, сердечно попрощавшись с аббатом. Пьер решил довести Мари до больницы, чтобы избавить ее от необходимости пересаживаться в экипаж. Омнибусы, ландо, дилижансы возвращались, снова заполняя двор в ожидании зеленого поезда, и Пьер с трудом добрался до дороги с маленькой тележкой, низенькие колеса которой увязали в грязи по самые ступицы. Полицейские поддерживали порядок, проклиная ужасное месиво, пачкавшее их сапоги. Только владельцы меблированных комнат, старые и молодые, горя желанием сдать свои помещения, не обращали внимания на лужи и перепрыгивали через них в своих сабо, гоняясь за постояльцами.

Тележка Мари легко спускалась по отлогой дороге, и девушка, подняв голову, спросила отца, шагавшего рядом:

– Папа, какой сегодня день?

– Суббота, душенька.

– Верно, суббота, день святой девы... Она сегодня исцелит меня, правда?

А за нею следом двое санитаров украдкой уносили на закрытых носилках покойника, которого они взяли в багажном зале за бочонками; его должны были спрятать в потайном месте, указанном аббатом Фуркадом.

Глава II

Больница богородицы всех скорбящих, построенная благотворителем-каноником и незаконченная из-за недостатка средств, представляет собою обширное четырехэтажное здание, с такими высокими лестницами, что больных трудно туда вносить. Обычно там проживает человек сто убогих стариков и нищих. Но в дни паломничества стариков переселяют в другое место, а больницу сдают отцам Общины успения, которые размещают в ней иногда до шестисот человек. Впрочем, как ее ни набивают, всех вместить невозможно, и оставшихся, человек триста – четыреста, распределяют: мужчин в Больницу спасения, а женщин в городскую больницу.

В то утро, на рассвете, во дворе, посыпанном песком, у ворот, которые охраняли два священника, происходила невероятная суета. Накануне персонал Временного управления занял канцелярию, где хранились отпечатанные списки и регистрационные карточки. Управление хотело улучшить организацию по сравнению с минувшим годом: палаты нижнего этажа решили предоставить тяжелобольным; кроме того, заполнение карточек с названием палаты и номером кровати, во избежание ошибок, должно было тщательно проверяться. Но из всех этих хороших намерений ничего не получилось ввиду того, что в белом поезде прибыло слишком много тяжелобольных, а нововведенные формальности настолько усложняли дело, что несчастных пришлось довольно долго продержать на дворе – требовалось известное время, чтобы хоть в каком-то порядке разместить их в здании. Снова, как на вокзале, качалась разгрузка: несчастных больных расположили лагерем на свежем воздухе, в то время как санитары и молодые семинаристы, работавшие в канцелярии, растерянно бегали взад и вперед.

– Мы хотели, чтобы все было уж слишком хорошо! – в отчаянии восклицал барон Сюир.

Это было верно – никогда еще не принималось столько бесполезных мер; в результате необъяснимой ошибки самых тяжелых больных назначили в верхние палаты. И изменить такое распределение было невозможно, опять все пошло как попало. Стали заполнять карточки, молодой священник составлял списки, записывая для контроля имя и адрес больного. Каждый прибывший должен был предъявить билет цвета поезда со своим именем и порядковым номером, а на нем надписывали название палаты и номер кровати. Это до бесконечности затягивало прием.

Началось непрерывное хождение взад и вперед по всем четырем этажам обширного здания. Г-на Сабатье одним из первых поместили в палате первого этажа, в так называемой семейной палате, где женам разрешалось оставаться при больных мужьях. В Больницу богородицы всех скорбящих допускались только супружеские пары, но для брата Изидора сделали исключение и разрешили остаться при нем сестре; его поместили рядом с г-ном Сабатье, на соседней кровати. Из окон видна была часовня, еще белая от извести; вход в нее был забит досками. Несколько палат тоже были еще не отделаны, но в них все же разложили тюфяки, на которых быстро размещались больные. Толпа ходячих больных осаждала столовую, длинную галерею, окнами выходившую во внутренний двор; сестры Сен-Фре прислуживали обычно в больнице и после прибытия паломников остались на своем посту, чтобы готовить им пищу; теперь они раздавали чашки кофе с молоком и шоколадом всем этим бедным женщинам, уставшим после тяжелой дороги.

– Отдыхайте, набирайтесь сил, – говорил барон Сюир, который старался быть всюду одновременно. – Вы можете располагать по меньшей мере тремя часами. Еще нет пяти, а преподобные отцы отдали распоряжение направиться к Гроту не ранее восьми, чтобы дать вам возможность отдохнуть.

Госпожа де Жонкьер одна из первых поднялась на третий этаж в палату святой Онорины; она была начальницей этой палаты. Ее дочь Раймонда осталась внизу, чтобы обслуживать столовую, так как предписание запрещало молоденьким девушкам находиться в палатах, где они

могли увидеть неподходящее для них или слишком страшное зрелище. Но г-жа Дезаньо, обыкновенная дама-патронесса, неотлучно оставалась при начальнице и просила дать ей работу, в восторге, что может наконец посвятить себя больным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.